

НИНА РАКОВСКАЯ

Мальчик
из
ЛЕНИНГРАДА



Рисунки К. Туренко.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
Москва 1960

D. 745

Эту повесть написала Нина Евгеньевна Раковская. Вероятно, вы читали её книги: «Верные друзья», «Чудесная азбука», «Школьная парта», «Будем знакомы, я — молоко!»

В повести «Мальчик из Ленинграда» рассказано о событиях, происходивших в годы Великой Отечественной войны. Ленинградский школьник Юлька Семёнов вместе с другими ребятами должен покинуть осаждённый город: всех детей решено эвакуировать из прифронтовых районов в глубь страны. И вот закрываются за мальчуганом двери родного дома и начинаются всевозможные испытания и происшествия... Во время бомбёжки Юлька Семёнов случайно отстаёт от школьного эшелона. Испытывая всевозможные мытарства, он пробирается из города в город, надеясь попасть к родным, и в конце концов оказывается в далёком Узбекистане.

Мальчик живёт в детском доме, в городе Коканде, попадает в горы и работает на оросительной станции. Он мечтает убежать на фронт и совершать подвиги, часто ошибается и попадает впросак, но всегда остаётся мужественным.

Многое рассказанное здесь писательница видела своими глазами, она была в те годы в Узбекистане и работала воспитательницей в детских домах для эвакуированных детей.

Отзывы об этой книге издательство просит присылать по адресу: Москва, Д-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги.



Часть первая
ПОСЛЕДНИЙ ЭШЕЛОН



Э

то было поздним летом, в 1941 году.

Утром меня разбудил громкий голос. В комнату влетели отрывистые слова:

— Граждане... города... Ленинграда...

Что-нибудь случилось? Радио на площади говорило громко, отчётливо. Я сразу вскочил с постели, подбежал к открытому окну. Мы жили на восьмом этаже. Из окна, сверху, я увидел крышу соседнего дома, а на ней — похоже на растопыренные пальцы серые зенитки. И я успокоился. Ничего особенного не случилось — просто восемь часов утра, и радио повторяет, как всегда, правила противовоздушной обороны. А эти правила я уже знал наизусть.

Я ещё раз взглянул на зенитки, около которых по крыше ходили красноармейцы. Поглядел на окна со-

седнего дома. Странные они теперь во всём Ленинграде стали — все клетчатые. Мы с мамой тоже заклеили все наши окна полосками бумаги крест-накрест, на случай, чтобы взрывная волна от фашистской бомбы не вышибла нам стёкла. Я отошёл от окна и крикнул:

— Мама!

Никто не отозвался. На столе стояли кофейник, сахарница, моя кружка с нарисованным котом в шляпе, тарелка с бутербродами. Рядом с тарелкой лежала мамина записка:

«Юля, надолго не отлучайся».

С тех пор как началась война, всё стало по-другому. Прежде мы с мамой вместе завтракали, потом расходились. В три часа опять встречались, обедали вместе. А теперь... Где сейчас мама? Она училась в медицинском институте, кончала его. Может, она свой докторский диплом пошла получать?

Я принялся завтракать. Кофейник не стал подогревать, ел бутерброды стоя, слушал, что рассказывает радио о зажигательных бомбах, а сам думал, что конец августа, скоро должны бы занятия начаться. Я в четвёртый класс пошёл бы... Но сейчас школьников увозят из Ленинграда. Из нашего дома почти все ребята эвакуировались, в тыл уехали. И со мной мама каждый день разговор об отъезде заводит. Только я никуда не хочу ехать.

«Не поеду, и всё... Буду Ленинград от фашистов защищать. Воздушных налётов я не боюсь. Даже когда бомба на нашей мостовой разорвалась — засвистела и грохнулась о мостовую, будто камень с неба упал, — я и тогда не испугался. Десятиклассник Саша из нашего дома мне даже сказал: «Молодец, Юлька! Ты, я вижу, человек хладнокровный!» Да, я человек хладнокровный и никуда не поеду, что бы мама ни говорила... Но что за шум на улице?»

Радио молчало. А снизу в комнату долетал топот, барабанная дробь. «Наверное, войска идут на фронт!» — решил я и побежал на улицу.

Но по улице шли не войска.

По широкой мостовой проходили очень быстро. почти бежали, большими отрядами школьники. Они шли с заплечными мешками, узелками, чемоданами.

Впереди каждого отряда шёл барабанщик. Ребята шагали по мостовой быстро, даже по сторонам не глядели, а на тротуарах было полно народу, прохожие останавливались, из подъездов выбегали люди. Все смотрели на ребят, а многие женщины плакали.

Рядом со мной стояла на тротуаре высокая седая старуха в чудном каком-то пенсне на золотой цепочке. Она вытирала слёзы клетчатым платком, а потом махала им — наверное, провожала кого-то.

— В Вологду едут! — рассказывала она. — В Вологду! У меня с ними внучка, девочка, едет. А из Вологды повезут ребят ещё дальше — в Сибирь, в Среднюю Азию. Говорят, это последний эшелон...

Я с тревогой посмотрел на заплаканное лицо старухи. Последний эшелон?

Старуха опять замахала платком. Мимо пёстрыми длинными рядами пробегали ребята. И все они — это я хорошо запомнил, — и мальчики и девочки, были в красных галстуках.

«Почему последний эшелон? — с тревогой думал я. — Не может быть... Неужели немцы и к Северной дороге подбираются? Говорили, что теперь одна Северная осталась...»

Когда последний отряд прошёл мимо подъезда, я долго глядел ребятам вслед. Потом повернулся и вошёл в подъезд. Поднялся до шестого этажа и остановился около квартиры Вовы Чучина. Он в нашем классе учился. Месяц назад Вова с отцовским заводом в Челябинск эвакуировался. Тогда увозили все заводы, чтобы фашистские бомбы не навредили им. Я нажал звонок. Послушал, как он звонит в пустой квартире... И зашагал к себе на восьмой.

«Да, — думал я, — пусть Вова Чучин поживёт с мамой и с отцом в Челябинске, пока мы тут фашистов бить будем... А я — другое дело».

Мы с мамой жили вдвоём, с тех пор как убили папу на белофинской войне. Он был командиром батареи. Значит, я сын военного... Да и ехать мне пришлось бы одному: мама тоже военнообязанная. Её, наверное, скоро на фронт пошлют. Что ж мне одному эвакуироваться? Конечно, много ребят и одни едут. Но кто знает, на какой фронт пошлют маму. Она не успеет мне свой адрес дать, и мы потеряемся...

«Никуда не поеду!» — опять подумал я.

Поднялся на свою площадку. Открыл дверь английским ключом и в недоумении остановился на пороге. Что такое?

ПИЛОТКА

На вешалке в передней висела чужая военная шинель. Я даже руками её потрогал. Откуда она взялась? А в комнате на обеденном столе лежали пилотка и военная сумка. Я прошёл во вторую комнату, в кухню. Никого. Пусто.

Сперва я даже испугался. Не уйти ли мне из дому? Но тут же сообразил: наверное, я оставил дверь незапертой, когда выбегал на улицу, а в это время к нам поднялся какой-нибудь папин товарищ. Папины друзья часто останавливались у нас проездом. Военный вошёл, разделся, увидел, что нас с мамой нет, и отправился по своим делам.

Я очень обрадовался приезду военного. Мы с мамой теперь не одни будем. Когда папа не вернулся с фронта, мне стало казаться, что у нас в доме пусто. И я радовался каждому гостю. А этот, может, с нами останется? Будем вместе жить, вместе Ленинград защищать. Вот хорошо-то!

Я огляделся и начал прибирать комнату к приходу военного. Чайник для него кипятить поставил, со стола вытер. Пол подмёл. Но военный не возвращался. Чайник вскипел. Я накрыл его красным суконным петухом. На площадку выглянул — не поднимается ли кто по лестнице. Военный всё не шёл. Прошло часа

два. Я совсем расстроился. Потом вынул из-под ска-
терти хлебные карточки. Решил — сбегаю в булочную.
По дороге, может, встречу кого-нибудь, что-нибудь
новое узнаю.

На лестнице я чуть не столкнулся со стариком поч-
тальоном. Хотел, не здороваясь, прескочить мимо, хо-
тя знал почтальона. Он прежде носил к нам письма от
папы из командировок, а потом с финского фронта.
Позапрошлой зимой он принёс нам извещение о смер-
ти отца. Когда почтальон узнал, какое это письмо, он
стал просить у мамы прощения... И с тех пор всю на-
шу почту опускал в синий ящик на двери, а на улице
от меня отворачивался.

Но тут он нагнул голову, поглядел на меня поверх
очков и окликнул:

— Молодой человек! Семёнов! Вам телеграмма.

Я взял телеграмму из рук почтальона. На ней бы-
ло написано: «Нонне Сергеевне Семёновой». Маме.
Я было сунул её в карман, а потом не выдержал. Ра-
зорвал наклейку и вот что прочитал:

«Дорогие Нонна Сергеевна Юля. Привет далёкого
Коканда. Приезжайте к нам. Ждём целуем телегра-
фируйте. Ваши Женя Соня».

Я засмеялся от радости. Вот неожиданность ка-
кая! Телеграмма была от папиного брата — дяди Же-
ни. Тётя Соня — это его жена. Только один раз я ви-
дел дядю Женю. После смерти отца он приезжал к
нам в Ленинград повидаться. На моего папу дядя Же-
ня совсем не похож. Папа невысокий, худощавый.
А дядя Женя полный, краснощёкий, высокого роста.
Он оказался добрым, весёлым, и мы подружились.

Я ещё раз прочитал: «...далёкого солнечного Ко-
канда. Приезжайте к нам... Ваши Женя Соня», сунул
телеграмму в карман и весело выбежал на улицу. Ко-
нечно, мы с мамой не поедem в Коканд. Маме нельзя!
А всё-таки хорошо, что дядя Женя вспомнил про нас
и позвал к себе. А то, как война началась, всех род-
ные из тыловых городов к себе приглашать стали.
Только нас с мамой никто...

«Обязательно сегодня отвечу ему, — решил я. — Сам отвечу. Адрес я помню: улица Янги-Хайят, дом пять...»

Я свернул в переулок, прошёл мимо арки. Там прежде была моя школа. Теперь в ней стояла воинская часть. У ворот арки ходил часовой с ружьём. Я постоял против него, потом вошёл в булочную. Подумал немного у прилавка и вместо хлеба взял сладких слоек, мягких, поджаристых, с сахарной глазурной корочкой. По-моему, я поступил хозяйственно. Со слойками можно чай пить, а сахар сэкономится... Положил слойки в авоську, перекинул через плечо и, выйдя на улицу, опять принялся думать про дядину телеграмму. Ведь Коканд в Узбекистане. Сколько проедешь до него? Дядя рассказывал, что от нас до Коканда тысячи четыре километров. А ехать туда можно разными дорогами, с пересадками. Через Москву теперь нельзя — немцы дорогу отрезали.

Я начал размышлять, мимо каких городов надо в Коканд добираться, где пересаживаться, будто и вправду собрался туда. И так разволновала меня дядина телеграмма, что только дома я вспомнил про военного. Долго стоял в передней у вешалки. Что же это всё-таки за таинственный гость? Хоть бы приходил поскорей...

Потом кинул авоську со слойками на стол. И тут кто-то позвонил. Я опрометью бросился к двери. Пришёл мой военный!

Однако на пороге стоял милиционер. И лицо у него было очень строгое.

МИЛИЦИОНЕР

За мной ничего плохого не было...

По вечерам мы не зажигали свет в квартире, чтобы фашистские лётчики не узнали, где наш Ленинград. Уже давно все стёкла в окнах крест-накрест заклеили бумажными полосками. На лестнице ещё на

прошлой неделе мы с мамой поставили ящик с песком на случай, если придётся тушить зажигательную бомбу. В ванне вода доверху.

И всё-таки я немного испугался.

Вдруг мы что-нибудь забыли из противовоздушных правил? Ведь их надо очень строго выполнять, по-военному.

Милиционер приложил руку к козырьку, молча отстегнул сумку и вынул лист бумаги. Я покраснел. Милиционер вошёл в комнату и спросил, кто живёт в квартире.

— Нонна Сергеевна Семёнова, моя мама, и я.

— Где мама? — спросил милиционер.

Я сказал, что мама ушла в медицинский институт рано утром и вот всё не возвращается.

— У мамы и отца есть родные в других городах?

Я не понял, зачем милиционеру знать про моих родных, спросить не решился и сказал, что моя бабушка живёт в городе Поволжье, а дядя в Коканде, на улице Янги-Хайят. А больше родных у нас нет.

Тут милиционер перебил меня.

— Постой, мальчик, — сказал он. — Коканд очень далеко. — И подал мне свой лист. — Вот тебе решение Ленинградского горсовета... В трёхдневный срок девочки до шестнадцати лет и мальчики до четырнадцати эвакуируются из пределов Ленинградской области. В обязательном порядке. С кем ты поедешь: со школой или с мамой в Поволжье, к бабушке?

Я ничего не ответил. Он дал мне карандаш.

— Распишись за маму, — сказал он, — что постановление вам известно.

Расписываться мне никогда не приходилось. Я сконфузился, написал на листе свою фамилию. Получилось очень крупно. Милиционер положил карандаш в сумку, спрятал лист. Остановился в дверях и сказал:

— Передай маме — послезавтра опять приду... Проверю, выехал ли ты.

СЫН ВОЕННОГО

Я расстроился. В трёхдневный срок... В обязательном порядке... Послезавтра милиционер опять явится — проверять. Неужели завтра мне придётся ехать?

Я выдвинул из-под кровати чемодан, который мама велела мне брать с собой в бомбоубежище, когда воздушная тревога меня одного дома заставляла. В чемодане лежали бельё, калоши в газете, сухари и конфеты. Я достал из письменного стола свой компас и географический атлас — пригодятся в дороге.

А потом с досадой захлопнул чемодан. Да почему я должен ехать?! Мы с мамой напишем в горсовет заявление, я сам туда пойду. К председателю. Пусть всяких трусов увозят, эвакуируют. Только не все ребята трусы! Почти каждый день в газетах пишут о маленьких героях. И я мечтаю о подвигах. И книги люблю читать о смелых... Кто мне запретит остаться?!

Я задвинул чемодан под кровать и пошёл на кухню. Нашёл на сковороде холодные котлеты и съел их. Взлся было читать, но что-то не читалось.

Уже смеркалось, а мама всё не приходила. Про военного я забыл — сейчас не до него было — и решил спуститься вниз, подождать маму у подъезда.

Станным делался тогда наш Ленинград по вечерам, будто он не настоящий, а призрачный, заколдованный. Кругом ни одного огонька. Громадные дома притаились, словно прячутся. Над перекрёстками светофоры не зажигаются и висят, как чёрные камни. Вместо домов стоят огромные сплошные зубчатые каменные стены.

Я взглянул на небо. Оно было светлое. Но, казалось, оттуда кто-то спустил на улицы громадный серый занавес, чтобы закрыть им город. А за этим серым занавесом взлетают в небо огни. Высоко взлетают. Потом взрываются, вспыхивают и гаснут. Это фашистские самолёты опять рвутся в Ленинград, а наши зенитчики ведут заградительный огонь.

Медленно проехала мимо подъезда машина. Шо-

фёр дал еле слышный гудок. Прохожие говорили вполголоса. Тишина какая!

И вдруг по мостовой промчалась мотоциклетка с алым флажком. Она затарахтела, затрещала в тишине, взвизгнула и скрылась за поворотом.

«Сейчас что-нибудь случится!» — подумал я.

И мне стало не по себе. Я тихонько взобрался наверх по тёмной лестнице, еле освещённой синими лампочками. Осторожно открыл дверь в квартиру и почувствовал, что в доме кто-то есть. В передней по-прежнему висела военная шинель.

— Кто тут? — беспокойно крикнул я.

И тогда из комнаты вышла высокая худенькая женщина в гимнастёрке, в пилотке. Она протянула мне руки.

— Мама! — крикнул я. И понял, какой военный заходил к нам днём.

Мама прижала меня к себе. Она, наверное, тоже очень волновалась. Она заговорила совсем тихо:

— Юля, меня назначили врачом в действующую армию. Наша дивизия уже формируется. На той неделе...

Мама не договорила. Я обнял её за шею, прижался и заплакал, потому что гордился ею и горевал, что мы расстанемся. Я теперь понял, что придётся мне уехать из Ленинграда. Надолго? А мама гладила меня по голове, целовала и говорила, что будет часто писать мне, что, может, скоро разобьём мы фашистов, скоро снова будем вместе.

Оказывается, мама и в школе моей была. Завтра мы со школой уедем из Ленинграда.

— А всё-таки, может, я останусь тут?

— Все, Юлька, хотят быть героями... Весь наш народ! И в тылу можно подвиги совершать. Ну, подумай сам: кто армию снабдит оружием, кто кормить будет нас, Юлька?..

Мама стала собирать меня в дорогу. Положила в заплечный мешок бельё, сухари, сахар, консервы. Это был наш «из» — неприкосновенный запас; ведь в

Ленинграде теперь все продукты давали по карточкам. Лишней еды не было, и мы с мамой сберегли это на крайний случай. Вот и настал такой случай. Я сунул в мешок и атлас, и компас. В карман пальто мама положила мне открытки с ленинградским адресом — велела ей писать с дороги. Потом вынула из сумочки розовую расчёску и сунула её в карман моей куртки.

— Следи за собой, Юлька, будь опрятным!

Она велела мне накрыть стол голубой праздничной скатертью. Чайник под красным петухом был ещё горячий.

— Давай, сынок, на прощание поужинаем вместе, — сказала мама.

Но только я успел налить чай в чашки, как радио объявило:

— Граждане... воздушная тревога...

Сейчас же завывли сирены так пронзительно и страшно, что у меня, хоть я и не боялся, заколотилось сердце. Но мама была очень спокойна. Она помогла мне надеть заплечный мешок, надела шинель, военную сумку. Когда мы спускались по лестнице, в окно я увидал, как повисла в небе и осветила крыши зловещим жёлтым светом фашистская ракета. По небу бегали голубые лучи наших прожекторов, искали фашистские самолёты. Бомбоубежище было в соседнем подъезде. Зенитки грохотали. А мама, пока мы бежали по тротуару, даже шутила, успокаивала меня:

— Ничего, Юлька, ничего! Мы воробьи стреляные... Верно, сынок?

— Верно, мама! — отвечал я.

ДО СВИДАНИЯ!

В бомбоубежище мы просидели до рассвета, пока не кончилась тревога и диктор стал повторять по радио:

— Воздушная тревога миновала! Отбой.

А вечером в тот же день я стоял на площадке по-

следнего вагона с мешком за плечами. Со мной на площадке теснились и другие ребята. Они кричали, спорили, а я смотрел назад, в ту сторону, где оставался Ленинград. Эшелон наш отправлялся с пригородной станции Ружайск. Вокзалы немцы сильно бомбили, и нам пришлось ехать до заставы трамваем, а потом долго идти пешком. Школьный эшелон из зелёных вагонов растянулся так далеко, что паровоза не было видно. Около станции был заводской посёлок. Он казался совсем красным от заката. Солнце заходило, и высокие трубы завода, большие корпуса, низенькие бараки, даже воздух — всё было багряное, зловещее.

Я опять стал смотреть туда, где виднелся Ленинград. Неужели я всё-таки уеду? Мне казалось, что сейчас что-нибудь случится и я останусь тут, вернусь домой, к маме...

Запела пионерская труба. Ребята хором закричали: «Едем! Поехали! Прощай, Ленинград!» К нам на площадку вскочил Гриша Русанов, высокий, очень худой, — мы его прозвали Дон-Кихотом, — старший вожатый из нашего эшелона.

Гриша велел ребятам убираться с площадки. На соседних путях женщина в чёрном ватнике махнула зелёным флагом. Далеко впереди свистнул паровоз. И грохот покатился по всему поезду. Один за другим дёрнулись вагоны, застучали буфера. Земля под ступенькой побежала... Я заплакал.

Кто-то схватил меня за плечо. Это был вожатый Гриша. Он знал меня — раньше в нашей школе работал.

— Ты чего, Юлька, плачешь? Срам какой! А ещё сын военного. Не реви! — сказал он строго.

Но тут у самого Гриши сорвался голос, и он тихо погрозил:

— погоди, Гитлер! Отомстим тебе за всё... Раскаешься!

Гриша толкнул меня в вагон. В купе ребята рассаживались по местам, делили верхние полки. Всем

хотелось забраться повыше. Я остался в коридоре, у окна.

За окном мелькали овраги, кустики. Пробежала речка с деревянным мостом. Дорога уходила и пропадала в поле. Кто-то ехал по дороге верхом на лошади. Куда он едет?

Я опять вспомнил о маме. Где теперь она? Вспомнил, как мы прощались. Утром на площади, у райсовета, собрали последних школьников нашего района. Нас выстроили длинными шеренгами. Чтобы не расстраивать нас, родители отошли в сторону, стали возле колонн, у подъезда райсовета. Где-то, как далёкая гроза, ухали артиллерийские орудия. Вух-вух-вух! — не смолкало над головой. Это наши зенитчики, охраняя город, вели заградительный огонь по вражеским самолётам. Со звоном летели на мостовую осколки снарядов. Надо было спешить, торопиться.

Военный с балкона второго этажа обратился к нам:

— Дорогие ребята, будьте спокойны за родной город! Мы не сдадим врагу Ленинграда... Настанет время — все мы опять встретимся здесь. Обещайте нам, защитникам города-героя, оставаться всюду ленинградцами. Будьте в тылу героями! Торжественно поклянёмся — за дело Родины, за дело народа будьте готовы!..

— Всегда готовы! — пронеслось по рядам.

Забил барабан. Ребята двинулись... Я шёл в последней шеренге.

— Юлька! — услышал я.

Мама бежала следом по мостовой. Она бросилась ко мне. Крепко прижала к груди. И отпустила. Видно, боялась, что отстану от ребят. А когда я догнал свою шеренгу и обернулся, увидел, что она стоит посреди тротуара, плачет и машет мне платком.

«Бедная мама! — подумал я. — Когда мы опять будем вместе? Когда?»

Что-то скрипело, колёса стучали. Уф, уф, уф! — сопел паровоз. Сторожка стрелочника промелькнула

в окне. На крыльце стояли две девочки в тёплых платках. «Они останутся тут?» И мне стало жалко этих девочек, этот домик, крылечко. Но я уже не плакал, а прижался к стеклу, погрозил кулаком и сказал:

— погоди, Гитлер! Раскаешься...

ПЕРВАЯ ПЕРЕСАДКА

Проснулся я оттого, что Гриша Русанов тряс меня за плечо и сердито кричал:

— Юлька, вставай!

Купе было пустое и совсем светлое. Поезд стоял. Я понял, что уже утро, но опять закрыл глаза... Тогда Гриша сильно дернул меня за руку, и я окончательно проснулся. Остановка? Куда все ребята пропали?

— Чего ты копаешься! — кричал мне Гриша. — Налёт, тревога! Вон из вагона! Налево беги, в берёзовую рощу!

Налёт? Немцы станцию бомбят? Гриша побежал в соседнее купе — видно, проверять, не остались ли в вагонах ребята, а я выскочил на площадку. Спрыгнул. И, не удержавшись, упал.

Спросонок и от неожиданности у меня рябило в глазах. Где берёзовая роща? Наш поезд стоял возле большой сортировочной станции. Гудели паровозы. Мимо по путям шли платформы с тачанками, грузовиками, пулемётами, прикрытыми брезентом и сосновыми ветками. Налево, за песчаной насыпью, зеленела опушка берёзового леса. Туда бежали три девочки из нашей школы.

Я тоже кинулся туда.

В это время над вагонами, над путями совсем низко, бреющим полётом, проплыл самолёт с огромными серыми крыльями и жёлтым крестом — свастикой. Над моей головой засвистело, как будто сыпался с неба из огромной железной воронки песок.



«Фугаска!» — понял я.

Я знал, что так свистит и воеет фугасная бомба, и лёг на шпалы. Мне казалось — бомба летит прямо на меня. Она всё ещё свистела, а рядом закрутился второй свист и третий. Теперь уже свистело небо, ломалось, рушилось вниз. Потом зазвенели стёкла, грохнуло, горячий воздух подкинул меня и отбросил к рельсам.

Потом стало очень тихо. Я встал, заметил, что у меня кожа содрана на коленке, но боли не чувствовал, так волновался. «Вдруг немцы десант спустили? — пришло мне в голову. — Ребята убежали, а я фашистам в лапы угожу... И зачем я раньше из Ленинграда не выехал!» — корил я себя и не знал, в лес ли мне бежать или под вагонами спрятаться!

— Юлька! Семёнов! — услышал я.

К станции из рожи бежали ребята из нашего эшелона, а с ними и Гриша. В это время сзади у стрелки затрубил в рожок железнодорожник. К станции подходил длинный пассажирский поезд с белыми матовыми окнами. На зелёных вагонах были нарисованы красные кресты. Это был санитарный поезд. Мне почудилось, что он идёт прямо на меня, и я отбежал

назад, на соседние пути. И тут же понял, что ошибся: поезд отрезал от меня наш эшелон, Гришу, ребят. Но было поздно, под ногами у меня дрожала земля, сыпались паровозные искры... Я уже ничего не слышал, кроме грохота колёс, — мимо медленно плыли зелёные вагоны с красными крестами.

Я стал метаться вдоль путей, думал обогнуть поезд. И услышал горн. Это трубил Гриша, извещал, что школьный эшелон отправляется. Ведь станции всё время бомбили и поездам нельзя было задерживаться.

— Подождите! — закричал я.

А санитарные вагоны всё шли и шли. Когда же последний вагон проплыл мимо, я увидел на путях воинский состав с красноармейцами в теплушках. Его прежде тут не было. Я помчался вперёд, добежал до паровоза. И увидел далеко впереди хвост нашего школьного поезда...

Наш эшелон уходил от станции. На открытой площадке последнего вагона стоял Гриша. Он махал красным флажком. Я побежал за поездом, упал, а когда поднялся, поезд уже скрылся за поворотом.

Тогда я закричал так громко, что ко мне сбегались со всех сторон люди. Среди них я заметил низенького лётчика в большой фуражке, глубоко надвинутой на уши. Он сильно щурил глаза и говорил таким басом, что его слов я сперва не разбирал.

Лётчик посадил меня на открытую платформу военного состава и сел рядом со мной. На платформе стоял самолёт. Мы тут же тронулись. Платформа, зелёное крыло самолета, бак для бензина — всё вокруг меня загрохотало. Лётчик, сидя рядом со мной, басом говорил мне в самое ухо. Он сказал, что военный состав тоже едет в Вологду. Скоро мы нагоним школьный поезд.

Тогда я успокоился.

Мы ехали хорошо.

Правда, мой заплечный мешок со всеми продуктами, с компасом и бельём остался в школьном эшело-

не, но лётчик Василий Васильевич всю дорогу угощал меня сдобными лепёшками, салом, ржаным хлебом, сгущённым молоком из синей консервной банки и луковицами. На ночь Василий Васильевич укрывал меня своей меховой курткой, заворачивал в брезент и укладывал под крыло самолёта. Он меня жалел, говорил, что я похож на его сына Васю, который остался в городе Гродно, у немцев.

Три дня мы ехали на платформе с лётчиком. На станциях я всё глядел, не стоит ли на путях наш школьный эшелон. Мне казалось, вот-вот мы догоним его. Но на четвёртый день Василий Васильевич вернулся от начальника поезда и объявил мне, что в военное время надо быть готовым ко всяким неожиданностям. Состав наш, оказывается, послезавтра вместо Вологды прибудет в город Горький.

Я почувствовал, что у меня затряслись губы.

— В Горький... А как же я? Тогда мне лучше в Ленинград вернуться...

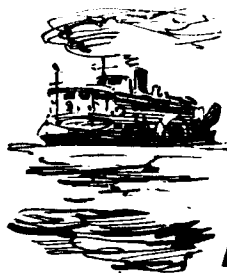
— Ленинград мы не сдадим, — ответил лётчик. И, немного помолчав, прибавил тихо: — Но положение грозное. Враг все дороги отрезал. Окружён Ленинград. Ваш эшелон, должно быть, последним вырвался. Фашисты шадить город не станут — знаешь их! Не напрасно вас, ребят, торопили, старались прежде самых дорогих грузов вывезти — эвакуировать. Ну, а кто остался там, много горя хлебнёт. Вот какое дело... А ты, Юлька, помни: настоящего капитана узнают во время бури! В беде голову выше поднимай. Есть? Точно?

С Василием Васильевичем я готов был ехать куда угодно, хоть на фронт. Пожалуйста. А одному... сами понимаете. Но я сдержался и слезинки не выронил. Подумал про Васю, сына лётчика. Каково ему у фашистов, в городе Гродно? Значит, надо и мне терпеть. И я ответил лётчику:

— Есть держать голову выше...

Хотя мне очень хотелось попросить его не ссаживать меня в Горьком, а взять с собой.

Часть вторая
ДОМ НА ПЛОЩАДИ



Я никогда не был трусом. Мама даже считала, что я чересчур самостоятельный. Я один ходил в музей, взбирался по лестницам на Исаакиевский собор и на речном трамвае ездил к ребятам на дачу. Но, признаюсь, в тот день я струсил.

Я стоял на высоком железнодорожном мосту в Горьком и глядел вниз. Под мостом по рельсам катились вагоны, шли товарные эшелоны.

В руках у меня был холщовый мешочек. В нем лежали сухари, булка, кусок сала и луковица. Всё это дал мне на прощание лётчик. Мы только что расстались с ним. Он ссадил меня с платформы, отвёл на перрон, к самой лестнице. Прощаясь, Василий Васильевич велел мне идти прямо к комиссару. Сказал даже, на какую улицу идти... Она тут же, рядом с вокзалом. Но всё это я сразу забыл, хотя Василий Васильевич и заставил меня три раза подряд повторить. И, стоя на мосту, как ни старался, я не мог вспомнить, к какому комиссару велел идти лётчик: к военному, городскому, вокзальному?

Утро было холодное. Небо в серых облаках. Дул ветер, и мне в лицо брызгали капли редкого дождя. По лестнице густой толпой двигались люди с узлами, мешками, корзинами. Толпа толкала меня, и ноги мои сами шли по железной лестнице вниз, в город.

— Это Горький? — спрашивал я.

И мне отвечали озабоченно, не останавливаясь:

— Горький! Горький... Приехали.

Когда я раньше слышал о Горьком, я думал про широкую Волгу, Оку, про высокие берега, по которым гулял Алексей Максимович Горький. Ни Оки, ни Волги тут не было. Внизу была площадь, а на ней столько

народа, будто все жители Горького уезжали отсюда или целый новый город переселился сюда.

Люди никуда не шли — наоборот, они лежали на мешках, стояли около них, сидели. Я стал пробираться мимо тюков, мешков, людей. И, хотя разного бездомного народа скопилось тут очень много, мне казалось, что я среди них самый несчастный. «И зачем я уехал из Ленинграда? — думал я. — Зачем? Был бы у меня дом. А теперь... Как же плохо жить бездомному...»

Я забыл, как во время налёта на сортировочную станцию пожалел, что раньше из Ленинграда не выехал. Теперь мне казалось, что вовсе не надо было уезжать. Если бы вдруг я очутился в Ленинграде... Как вернуться назад? Как хорошо мне жилось там!

С разных концов на площадь сходились улицы.

На одном углу я заметил дом, весь в красных кумачовых полотнищах. Полотнища спускались вниз с крыши, висели на дверях. Вокруг дома толпилось много народа, и я тоже пошёл туда.

Дом был трёхэтажный, розовый. Но из-под розовой краски проступала голубая — дом из-за войны, видно, не успели докрасить.

Я стал читать надписи на кумачовых полотнищах: «Смерть фашистам!», «Победа будет за нами!», «Что ты сделал для фронта?»

На стенах дома висели объявления, но их разобрать я не мог. Нельзя было подойти — широкая, тесная очередь в несколько рядов окружала дом и влезала в большие высокие двери. Люди были разные — в летних платьях, в костюмах, а другие даже в шубах нараспашку, но все с узлами, чемоданами и сумками.

Я посмотрел на свой холщовый узелок, уселся на кривую каменную тумбу, которая стояла тут, наверное, с основания города, и неожиданно прочитал над дверьми дома крупную надпись на кумаче:

«Эвакопункт».

Как я обрадовался! Эвакопункт! Мне как раз сюда. О нём мне лётчик говорил в дороге.

Тут всё знают: куда отправят маму, где находится школьный эшелон. Я бегом бросился через мостовую к очереди в эвакуопункт.

«Д Е Р Ж И Т Е!»

Ещё с мостовой я увидел в толпе старуху в чёрном кружевном шарфе. У моей бабушки тоже был такой. Она стояла в очереди и, наверное, как и я, очень волновалась, потому что всё время оборачивалась, при-топывала ногами в высоких ботинках на шнурках, качала головой и сама с собой разговаривала.

Я подошёл к ней, стал рядом. И стал спрашивать, есть ли в эвакуопункте тот комиссар, про которого мне говорил Василий Васильевич. Старушка оказалась очень добрая и словоохотливая.

— Миленький мой, — сказала она, — а где же твои родители? Отец на фронте погиб! А мама?

А когда узнала мою историю, ещё больше разволновалась.

— Отбился? От эшелона отстал? И молчишь! Да, может, твой поезд здесь очутился. Сейчас всё может быть... Граждане, пропустите ребёнка! Дайте к начальнику пройти.

Все вокруг сочувствовали мне, а старичок в синей с белой полоской, как у ребят, косоворотке всё повторял:

— Не теряйся, паренёк! Тут секунда дело решает... Прямо к начальнику эвакуопункта иди. Не теряйся!

Я осмелел и стал пробираться к дверям. Но очередь стояла тесно. Я старался изо всех сил. И оказался в самой гуще очереди. Потом подлез под чей-то локоть, очутился почти у дверей и тут остановился. Передо мной стоял рослый дядя в пушистом драповом пальто, с высокими плечами. Он стоял как вкопанный. Сколько я ни вертелся, ни нажимал на него плечом, он не двигался с места. Даже не шевелился.



Сзади на меня напирали, давили с боков. Мне стало очень душно, я просунул руку, уцепился за что-то и опять стал протискиваться. Я так старался, что даже вспотел. Но тогда дядя в пушистом пальто вдруг сам отодвинулся в сторону, нагнулся надо мной и больно схватил за руку. А потом — я и сообразить не успел, в чём дело, — он закричал:

— Безобразия! Держите! Вор!

Вокруг меня стало немного просторней, и я увидел, что вцепился в карман рослого дяди. Я хотел поскорей отдёрнуть руку, но он сжал её в своей полной руке и ещё громче крикнул:

— Держите!

Дальше всё случилось очень быстро.

Всё вокруг меня закачалось. Я упирался ногами в землю и чувствовал, что дядька в пушистом пальто тащит меня куда-то. Я отбивался руками и ногами. Думал, что он тащит меня в милицию или сразу в тюрьму. Тогда я каким-то не своим голосом закричал:

— Спасите! На помощь!

СПАСЕНИЕ

Мне теперь и самому стыдно всё это вспоминать. Я стоял в дверях эвакуопункта. Кверху поднималась лестница с мраморными ступенями. Сейчас ступени были грязные, тёмные оттого, что по ним целый день ходили. Наверху во всю стену было зеркало. А по мраморным широким ступеням спускались двое военных. Один был повыше и помоложе, другой — с длинными, как у Будённого, усами. Лица у обоих были сумрачные, усталые.

Военные остановились возле меня, и тот, который был помоложе и повыше, усмехнувшись, спросил:

— Кого спасать-то? Кто ты такой?

Я так разволновался, что слова не мог вымолвить.

В очереди кто-то громко спросил:

— Да что он сделал?

Старушка жалобно крикнула:

— Отпустите его! Это же мальчик из Ленинграда!

Но тут же ей возразили:

— Так ему и надо! Развелось этих беспризорников!

Я молча смотрел на военных и ждал, что будет.

— Ну, чего молчишь? — обратился ко мне военный. — Струсил? Ну, выкладывай!

Выкладывать? Я сперва ужасно испугался, чуть не заревел — решил, что военный велит мне выкладывать краденое. А потом до того возмутился, что весь мой испуг куда-то пропал. «Вот оно что... Вот какие несправедливости!..»

Толстый дядя в пушистом пальто говорил что-то с негодованием.

«Наговаривает на меня военному! Вором называет...»

Я решил сказать им тоже что-то особенное, сказать про отца, про маму. Что я Ленинград хотел защищать и пусть они меня домой или на фронт отправят. Но ничего не мог выговорить. Горло у меня сжало, будто его схватили рукой. Дрожащими рука-

ми я вытащил из кармана коричневую книжечку и протянул её.

Это был мой ученический билет. Почему я вытащил его? Сам теперь не знаю. Мне тогда хотелось доказать, кто я, показать своё удостоверение личности. Но паспорта, как у взрослого, у меня не было. И я показал школьный билет. Я его вообще всегда носил с собой, он мне нравился.

Наверное, я был очень смешной, потому что военные покосились на меня, усмехнулись. Потом молодой не спеша раскрыл коричневую книжечку. Прочитал. И лицо его стало и грустное немного, и ласковое. Он наклонился ко мне, взял за подбородок, поглядел внимательно в глаза. Потом выпрямился, взглянул на дядю в пушистом пальто и сердито приказал:

— Выйдите отсюда, гражданин! Без вас разберёмся!

Передал мой ученический билет военному с усами и сказал:

— Товарищ Тиль, займись мальцом. Помоги ему!

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО

Военный с усами, по фамилии Тиль, взял меня за руку. Я крепко ухватился за неё, и мы стали подниматься вверх по мраморным ступеням. Вошли в большую комнату. Она была вся уставлена столами. А за столами сидели одни женщины и листали большие конторские книги. Мы с военным подошли к самому большому столу, который стоял в углу. Военный уселся за стол, велел мне сесть и спокойно рассказать, как я очутился в Горьком. Выслушал и спросил:

— Так... Юлькой тебя зовут? Юлька Семёнов. Что же мне с тобой делать, Юлька? В Сибирь ваша школа уехала. Позавчера ваш эшелон через Горький проследовал. И запрос есть про тебя.

— Правда?

— Совершенно точно. Видишь эту бумаженцию? Такие мы уже во все города собирались рассылать.

Он показал мне квадратный листок, а я так обрадовался, как будто я уже всех нашёл, встретился со своими, хоть и далеко уехал мой эшелон. Значит, меня искали!

— Так вот, дружище, до Сибири тебе одному сейчас не добраться, хоть ты и боевой парень. Придётся тебя в детдом отправить. Согласен? Перезимуешь в нашем детдоме. А мы тем временем со школой твоей спишемся... Маму найдём.

В детдом мне почему-то не хотелось. Я вздохнул, и глаза у меня сами собой стали мокрые.

— Пойми, парень, ведь родных у тебя поблизости нет. А раз так...

И тут мне ударила в голову мысль. Как нет родных? А моя бабушка?

— А к бабушке мне нельзя? Бабушка моя живёт в Поволжье... Это ведь на Волге где-то?

— Эх ты, голова! — весело сказал военный. — Поволжье у нас под боком — два дня плыть на пароходе. Если желаешь, я тебя к бабушке и направлю. Только ты, парень, того... боевой, а слишком, кажется, впечатлительный. Опять отстанешь, потеряешься!

— Я потеряюсь?

Я рассказал военному, что в Ленинграде работал в кружке юных историков, ездил в Гатчину, в город Пушкин описывать исторические места. Усатый недоверчиво качал головой. Долго думал. Потом обратился к девушке, которая сидела за соседним столом, и велел оформить мне все документы.

Через час я уходил с площади, на которой стоял дом с кумачовой надписью «Эвакопункт».

Хорошо всё устроилось.

В руках у меня был большой лист. И ещё один — маленький, жёлтый. На большом листе было напечатано:

«Справка об эвакуации».

Оказалось, что я попал к самому начальнику эвакуационного пункта и, наверное, понравился ему!

Справка об эвакуации — теперь мой документ, так сказал мне начальник эвакуационного пункта. Мой вид на жительство. Вроде паспорта. По этому листу мне даже выдадут обратный бесплатный билет в Ленинград, когда кончится война. По нему на станциях, на пароходе мне будут давать хлеб и бесплатные обеды.

А маленький жёлтый листок, похожий на билет в кино, — это был билет на пароход. На нём красными чернилами написали: «Михаил Калинин».

Начальник эвакуационного пункта предупредил меня, что пароход отойдёт через два часа от волжской пристани. А пристань эта находится около моста через Волгу... На причале у пристани есть детская комната. Там сидит воспитатель. Он меня сам на пароход и посадит.

Я спрятал в карман поглубже справку, билет и пошёл отыскивать набережную. Я был очень доволен. У бабушки я один внук. А папа мой был её старший и любимый сын. Она мне это сама говорила, когда гостила у нас в Ленинграде. Бабушки я ничуть не боялся, она добрая, мне у неё будет хорошо.

На углу я заметил почтовый ящик. Вынул из кармана открытку из тех, которые дала мне мама в Ленинграде. А потом спрятал открытку опять в карман. Нет, лучше отправлю из Поволжья, ведь я скоро буду там.

Мимо меня проезжали по мостовой красные трамваи. Они были меньше наших, ленинградских. Окна у них были покрашены синей краской.

«И тут затемнение! — подумал я. — Значит, и сюда фашистские разведчики прилетают. Гады ненавистные!»

Но я не торопился, шёл, будто гуляю. Мне казалось, я почти дома. А улица делалась всё шире, дома пропадали, появлялись пустыри... И вдруг я очутился на набережной.

Вот простор-то! Передо мной текла широченная

река. Далеко, на противоположной стороне реки, начинался опять город. Он стоял на горе.

По реке плыли коричневые баржи, белые пароходы и маленькие лодочки, как чёрные скорлупки.

Налево я увидал мост через реку — громадный, в километр. За мостом река разливалась в огромное серое море. По мосту шёл трамвай, ехали машины. Впереди среди прохожих я заметил девочку с книжкой в руках. Я догнал её, показал на море и спросил:

— Что такое?

— А то Во-о-олга, — сказала девочка негромко и так сильно окнула, что я рассмеялся.

— А это что? — показал я назад.

— А тут О-о-ока! — ответила она так же протяжно.

«Вот оно что! Ведь Горький стоит на слиянии Оки с Волгой, а Волга — самая большая река в Европе. По ней я сейчас на пароходе поплыву. Вот налюбуюсь!» Я обогнал девочку с книжкой и вышел к людной пристани, около которой стоял, как громадный белый дом, пароход «Михаил Калинин».

Это правда был настоящий плавающий дом.

Он стоял у берега, около белого причала-вокзала, выстроенного на воде. К причалу шла широкая деревянная лестница. Когда я подошёл ближе, то понял, что началась посадка на пароход. И что тут творилось! По лестнице шли люди с мешками, тюками на спине, а некоторые даже волокли на плечах громадные деревянные сундуки. Людей было такое множество, что я решил повернуть назад. Вспомнил про детскую комнату, про уполномоченного, который посадит меня на пароход. Но сверху шли и шли люди. Они загородили мне путь, и я сам стал спускаться вниз по лестнице. Было так тесно, что я ничего не видел под ногами — только чьи-то спины да ноги. Я спотыкался, хватался за чужие руки, за мешки. Я был весь потный и красный, когда, наконец, по мосткам над водой втиснулся на пароход.

Жёлтого бесплатного билета у меня никто не спросил, кажется, все были с такими билетами.

Я сунул билет в карман, прислонился к стене. И тут сзади меня закричали, завизжали стеклянные двери, поехали на колёсиках. И закрылись. Вовремя я добрался до пристани! Ещё бы секунда — и опоздал.

Я взглянул в стеклянную дверь. И вижу — мостки уже убрали, а широкая коричневая вода доходит до самого борта.

«Потонем!» — испугался я.

В это время что-то застучало под ногами. Весь пароход начал дрожать. Раздался протяжный звон — ударили в медный колокол. Один раз, потом два раза подряд. Потом в третий раз. Я опять взглянул в стеклянные двери и увидел, что берег закружился.

Мы уже плыли.

И тут меня даже отчаяние взяло. Где мне пристроиться? Как я доеду? Проход был завален тюками, мешками, чемоданами. И присесть негде. Неужели я до самого Поволжья буду в дверях стоять? Слёзы закапали у меня из глаз. Зачем я такой вырос несговорчивый? Сколько раз у меня из-за этого неприятности происходили. Лучше бы мне, правда, в детдоме пожить, написать бабушке. И вместе с ней в Поволжье ехать.

Словом, справил я труса.

Только вскоре ко мне подошла женщина в белом халате.

— Ты один? — спросила она. И взяла меня за руку.

Мы стали пробираться меж тюков, чемоданов, сундуков. Прошли узким проходом мимо машинного отделения. Там за стеклянными стенами стояли чёрные чугунные коробки и ходили взад и вперёд стальные поршни. Мы протиснулись в коридорчик с белыми дверьми, на которых были надписи: «Штурман», «Рулевой», «Боцман», «Механик». И я увидел круглое окошко в стене. Над окошком я прочёл: «Буфет для эвакуированных детей». Мы постучали.

Окошко открылось. Оттуда высунулась рука и протянула мне два мятных пряника.

Пряники были жёсткие, но сладкие. Женщина в халате велела мне показать справку об эвакуации, поставила на ней цифру «12 сентября» и крестик и сказала, чтобы я пришёл сюда за ужином. И правда, вечером к этому окошку стояла очередь эвакуированных детей, и нам всем выдали по тарелке манной каши и по две больших вкусных сардельки.

Пароход долго стоял на остановках, и вместо двух дней мы плыли четверо суток. По справке я всё время получал из окошка бесплатную еду. Но свободных кают не оказалось. Я выискал себе место в коридоре, у окна, и уселся там на чьих-то тюках, а потом познакомился с молодым матросом. Матрос ловко забрасывал канаты и привязывал на пристанях пароход к причалу. Он привёл меня в свою каюту, и я спал там на маленьком сундуке у окна. Матрос рассказывал мне, сколько заводов, разных учреждений, школ и даже детских садов перевёз «Михаил Калинин».

И мы принимались ругать Гитлера.

— Как ты думаешь, он за это ответит? — спрашивал я.

— Собственной головой! Не иначе, — говорил матрос.

Но много разговаривать не приходилось, у матроса были всякие дела — он помогал рулевому, работал в машинном отделении, таскал тюки. Он подарил мне путеводитель по Волге. Я всё время читал описания мест, мимо которых мы плыли. Красивые тут встречались места — на крутых берегах росли леса. В тот год осень наступила рано, и леса были жёлтые. Далеко к горизонту уходили поля... Но всё-таки я очень устал. В ушах у меня шумело от стука поршней и моторов, в глазах рябило, оттого что я всё время смотрел на воду. Очень хотелось послушать радио. Тогда утром и вечером обязательно передавали сводки с фронта. Я никогда не пропускал их. А здесь голос диктора заглушал шум из машинного отделения.

Правда, матрос передавал мне, что на фронте делается. Но вести были невесёлые — Гитлер всё наступал.

Я совсем заскучал на пароходе. И очень обрадовался, когда утром мы подплыли к бабушкиному городу.

БАБУШКИН ГОРОД

В машинном отделении ударили в медный колокол, а матрос, с которым я сдружился, пробегая мимо меня, крикнул:

— Приехали! Поволжье!

Я так разволновался, что даже забыл проститься с ним. Заторопился, побежал через раскрытый проход по деревянному мостику. И неожиданно очутился на низком берегу широкой, светлой Волги.

Было ещё очень рано. На другой стороне реки стояло, не двигаясь, оранжевое громадное солнце. Вниз по Волге плыла коричневая баржа. А далеко на горе стоял город.

Кругом было тихо и очень просторно. Пароход знакомым озорным голосом, как будто он насмеялся над кем-то, крикнул три раза: «Ву! Ву-ву! Ву-ву-ву!»

Застучал винт. Сзади парохода забурлил пенистый хвост. Полоса воды между пароходом и берегом разливалась всё шире, шире. «Михаил Калинин» медленно и как-то гордо отходил от пристани. Он отплыл на середину, постоял там немного на одном месте, а потом сразу скрылась его передняя половина. Ещё минута прошла... И весь пароход пропал за поворотом.

Народу сошло мало.

Я первый влез на пригорок. По широкой степи шла дорога. Она была обсажена, как аллея в парке, старыми клёнами, ольхой и тянулась до самой горы. А на горе стоял красивый деревянный городок. День был очень тёплый, небо совсем синее, а земля сырая, мяг-

кая, усыпанная жёлтыми листьями. И так кругом было мирно, будто и войны не было...

Ну вот я и попал в тыл. Сюда фашистские стервятники не залетают. И бомбы не рвутся. Мама пусть обо мне теперь не беспокоится!

Я шёл очень долго. Мне навстречу попалась повозка, запряжённая волами. На повозке ехали женщина с ребёнком и старик с длинным кнутом. Наконец дорога повернула к мостику через маленькую речку с чёрными берегами.

Около деревянного мостика стоял полосатый столб с доской, на которой было написано: «Поволжье». Как будто мимо этого города можно было пройти и не заметить его!

Я взобрался на крутую улицу и на первом же доме прочел: «Первомайская». Это и была та самая улица, где жила моя бабушка. Нашёл и её дом. Он был третий от края. Когда я взошёл на деревянное крылечко и постучал в деревянную дверь с медным кольцом вместо ручки, у меня забилося сердце... Кончилось моё путешествие! Я опять дома, с родной бабушкой... Как плохо жить, когда нет дома! Я даже пожалел эвакуированных, которых видел в Горьком на площади, на пароходе. Поскорее бы и они приехали домой. И я застучал ещё сильнее.

— Бабушка! — крикнул я.

Дверь открылась.

ИВАН СЕМЕНОВИЧ

На крыльцо вышел мужчина в сером свитере, серых брюках и коричневых парусиновых туфлях. Серые брюки были внизу заправлены в зелёные носки. Человек был молодой, но уже лысый.

— Тебе кого? — спросил он.

— Бабушку! — сказал я.

— Кого? — переспросил он.

Немного растерявшись, я стал рассказывать, что

приехал из Ленинграда, что я Семёнов... Человек в зелёных носках молча слушал, нахмурившись глядел на меня и наконец сказал:

— А я тут при чём? Твоя бабушка в первый месяц войны умерла. Надо бы знать.

Я так растерялся, что даже кепку с головы снял. Из-за двери крикнули: «Иван Семёнович!» Человек в зелёных носках ушёл в дом и закрыл за собой дверь. Я всё не мог опомниться и стоял на крыльце с кепкой в руках, не зная, что мне делать. Но Иван Семёнович тут же снова вышел на крыльцо.

— Бабушка твоя умерла... А дом этот я снял у горсовета, — сказал он мне.

Нагнул, подтянул зелёные носки ещё выше на серые брюки и прибавил:

— Помочь я тебе ни в чём не сумею. Я сам по карточкам хлеб получаю... в гороно иди!

На крыльцо вышла маленькая толстая женщина в фартуке из тёмной клеёнки. Она засунула руки под нагрудник фартука и пристально смотрела на меня.

— И куда это вас направляют, скажите, пожалуйста! — сердито говорил Иван Семёнович. — Куда? Ленинград, пишут, на месте стоит. Ленинград отдавать никто не решал, а из Ленинграда уже побежали!

Я ничего не ответил и молча сошёл по ступенькам с крыльца. Умерла моя бабушка! Бедная бабушка... Мы с мамой часто вспоминали её. Всё удивлялись, почему она не стала отвечать нам. Бедная бабушка! А они... Злые какие! Они думают, я к ним напрашиваться буду? Навязываться? Я... я... Я вспомнил начальника в эвакупункте, в Горьком. Он уговаривал меня там остаться. Надо было послушать его. И, сойдя с крыльца, я повернулся к Ивану Семёновичу и ответил ему с обидой, но гордо:

— Я и сам у вас не останусь!

Иван Семёнович и женщина в клеёнчатом фартуке стояли на крыльце. Я всё-таки был уверен, что они позовут меня, скажут: «Ладно, переночуй у нас...» Но они молчали. Тогда я с трудом, медленно выговорил:

— Я к вам не собирался. Меня в Коканде дядя Женя и тётя Соня ждут. Я в детдоме, если захочу, буду жить...

И пошёл по улице, которая поднималась в гору. Я чувствовал, что они смотрят мне вслед. Им, наверное, стыдно стало. Они, наверное, ждут, что я вернусь. Но я не мог оглянуться — слёзы залили мне всё лицо. Неужели они не позовут меня? Я теперь так жалел, что сказал, будто собираюсь в Коканд! Зачем я не попросил их помочь мне вернуться в Горький к начальнику эвакуопункта?..

Я шёл по улице и повторял шёпотом: «Зачем приехали! Из Ленинграда бегут...» И почувствовал такую злость, ненависть к Ивану Семёновичу в зелёных носках, что стал вслух разговаривать с ним: говорил, что скоро будут наказывать тех, кто жадничает в военное время. Наше правительство, весь народ жалуют эвакуированных, помогают им, а он...

Не помню, какой дорогой я вышел на вокзальную площадь, увидел белое здание вокзала, трубы паровозов, крыши вагонов и много-много людей. На площади я просидел весь день, всё дожидался, сам не знаю чего. Справа от меня сидела на опрокинутом ведре молодая женщина в серой пуховой шали. За целый день она даже не встала, всё о чём-то думала, иногда тихонько плакала и вытирала лицо красной тряпкой. Откуда она ехала? Где её дети? Наверное, она о них плакала.

А налево были сложены тюки, зашитые в серые и полосатые холстины. На тюках сидела худенькая старушка. Старушка ехала с тремя молодыми дочерьми. Она была весёлая и очень разговорчивая. А дочери всё время приносили ей еду. Она пила прямо из горлышка чайника клюквенный морс, чай, а потом молоко.

Старушка с дочерьми тоже были ленинградские и ехали к родным в Ташкент. Они дали мне яблоко, морковку и белую сайку.

— Ешь, ешь, не стесняйся, — говорили они. —

Ведь с утра не ел, а сейчас второй час... Обедать пора!

А когда я поел, они дали мне напиток из чайника.

На площади всё время говорил из рупора женский голос. Называл поезда, объявлял, куда и когда отправляются бесплатные, для эвакуированных.

И старушка, и её дочери всё уговаривали меня:

— Иди, Юлька, на вокзал, иди! Там есть детская комната. Там тебе помогут. Устроят тебя в детдом. Иди, Юлька, не бойся!

Но я не хотел уходить от них. Они были добрые, весёлые. Успею в детскую комнату. А тут как раз женщина сказала в рупор:

— Граждане эвакуированные! Сегодня отправляется дополнительный поезд. Направление поезда — Чкалов, Актюбинск, Қзыл-Орда, Ташкент, Коканд, Фергана...

Коканд! Дядин город... Сегодня же я могу уехать туда. И через неделю наверняка буду у дяди. Как я обрадовался! Я стал просить старушку:

— Я с вами поеду. Возьмите меня. Вы в Ташкенте сойдёте, а я в Коканде. Возьмите меня. Дядя Женя сам нас с мамой звал. Хотите, покажу телеграмму?

Я показал им телеграмму, которая лежала в моём кармане вместе с маминой розовой расчёской. Женщина из рупора опять заговорила на всю площадь: «...дополнительный поезд для эвакуированных... направление — Чкалов, Ташкент, Коканд, Фергана...» Я так разволновался, что заплакал. И они согласились взять меня. Даже сами достали мне бесплатный билет до Коканда. Видите, какие бывают хорошие люди!

Правда, когда началась посадка и по железному крючку вместо ступеньки я вскарабкался в теплушку с нарами, я увидел, что моих знакомых нет со мной. Я отбил — кругом опять были незнакомые и, кажется, как на подбор, сердитые. «На другой остановке перекочую к своим!» — решил я. Но поезд двигался

медленно, мелькали станционные домики, а он не останавливался.

И опять начались мои мучения.

Может, спрыгнуть на ходу? Вернуться в Горький?

Место мне досталось на верхней наре, около маленького окошка, за которым мелькали серые поля. Всего в нашей теплушке было сорок шесть человек, не считая детей. Все дети ехали с родными. Только я был один, и в тот вечер никто даже слова со мной не сказал. Эвакуированные весь вечер рассовывали свои вещи, устраивали на нарах постели. А я всё время глядел в окошко и опять разговаривал с Иваном Семёновичем — укорял его, совестил. Рассказывал ему про отца, про маму, про дядю Женю, а главное — про то, как не хотел уезжать из Ленинграда.

От этого разговора я не успокоился. На глаза у меня навёртывались слёзы. Я решил, что не добраться мне до дяди Жени, пропаду я в пути. Проклятый Гитлер так навредил, что и в тылу было трудно, как на войне... Я так и заснул на корточках, у окошка.

А наутро в вагоне заметили, что я еду один, и пассажиры стали кормить меня и жалеть. Мне даже подарили голубую эмалированную кружку, дали чайную и столовую ложки.

Нашлась и знакомая старушка. Она ехала с дочерьми в пятом от нас вагоне. И тоже заботилась обо мне.

Сама-то она боялась вылезать из теплушки, а её дочери часто навевались ко мне. Они приносили картофельные пирожки и тыквенные семечки — их всё время продавали на станциях — и предлагали:

— Пересаживайся к нам, Юлька!

— Спасибо!

Но мне и тут нравилось. Очень удобное у меня было место. По целым дням я сидел на нарах и глядел в окошко. Это никогда не надоедало мне. Я только жалел, что мой атлас и компас остались в школьном эшелоне. Пригодились бы они сейчас! От домашних вещей оставалась у меня только мамина розовая рас-

чёска да кусок красного мелка, который сам не знаю как попал в карман.

Да ещё дядина телеграмма.

Но чего только я не увидел из окна моей теплушки! Сперва мимо проносились дубовые рощи. Совсем зелёные, с весёлыми лужайками. Потом, ближе к Уралу, начались степи. Я боялся пропустить реку Урал. И, когда поезд гроыхал по мосту через Урал, я всю нашу теплушку взбудоражил, рассказывал им про Чапаева.

— Вот тут Чапаев утонул, мой любимый герой! Помните? Он через реку переплывал, а белые его в голову ранили... Чапаев утонул в реке. А тело его так и не нашли. Смотрите, какая быстрая река. Знаете стихи: «Урал, Урал-река... бурлива и глубока...»

Перевалил наш поезд через Мугоджары, какие-то невысокие, будто ржавчиной покрытые горы. Паровоз всё время останавливался, чтобы отдышаться, а вагоны даже катились обратно, вниз. Я думал, мы и не выберемся из этих некрасивых гор, но мы, наконец, выехали в широкую степь. И поезд пошёл быстрее.

Перевалили Мугоджары, и сразу всё пошло другое — степи и степи. Редко промелькнёт одинокое деревце. И станет жалко его — ветер треплет ветки, сгибает к земле.

Потом начались пески. А как-то я увидел тёмную цепочку вдаль. И догадался: верблюды! Караван верблюдов идёт по пескам...

Очень понравилось мне Аральское море. Оно лежит совсем вровень с жёлтыми песками, будто синюю-синюю воду пролили прямо на жёлтую землю.

Эшелон наш двигался медленно. В пути нас обгоняли курьерские, санитарные поезда. Навстречу шли воинские эшелоны. И тогда все в нашей теплушке задумывались. Мы едем в тыл, а герои спешат на фронт, защищать нас. И я тоже чувствовал себя виноватым... Иногда же наш поезд подолгу стоял на маленьких разъездах в степи. Тогда старичок агроном, наш выборный начальник вагона — он был из-под Одессы, —



Место мне досталось на верхней наре около маленького окошка.

отправлялся с ведром в первый вагон эшелона за полхлёбкой. С нами ехала походная кухня, и дорогой нам давали горячую еду. Первое время, когда старичок приглашал меня идти за обедом, я отказывался — боялся опять отстать от поезда. Потом осмелел, выпрыгивал на ходу на остановках, отбегал даже в степь.

Часто мы рассуждали со старичком, какая у нас большая страна.

— Едем, едем, а всё по родной земле. Да разве такую страну осилишь?! Никто и никогда нас не победит...

С дороги я послал маме в Ленинград три письма. Я описывал своё путешествие и просил писать мне в Коканд. Дяде Жене я тоже написал, что еду к нему.

А между тем в моём окошке начали появляться новые пейзажи. К дороге подбегали стройные пирамидальные тополя, а на горизонте, словно облака, вырастали холмы. С каждым днём холмы становились выше и превращались в настоящие горы.

Ташкент, главный город Узбекистана, мы проехали ночью, я его проспал. Теперь недалеко был и Коканд. От Ташкента до Коканда, до дяди Жени, я знал, оставалось триста километров.

Часть третья

КОНЕЦ ПУТЕШЕСТВИЯ



Коканд мы приехали поздно, в час ночи.

Когда наш поезд с эвакуированными остановился у станции, наверное, подумали, что он пустой. Ни одна дверь теплушки даже не приоткрылась. Все пассажиры в поезде ехали дальше.

Из нашего вагона тоже никто не сошёл, хотя одна семья собралась слезть вместе со мной. На последней большой остановке, в Ленинабаде, в нашу теплушку подсел здешний житель, пожилой железнодорожник. Он всех пассажиров испугал и даже меня расстроил: сказал, что Коканд плохой город. Тут постоянно, говорил он, дуют страшные ветры. Зимой каждый день льют дожди. Говорил, что люди тут очень вспыльчивые, а фрукты жёсткие от дождей, от ветра и ещё от соли, пропитавшей здешние поля.

Поэтому даже та семья, которую направили в эвакупункте в Коканд, поехала дальше — в Фергану.

Вагон наш спал, а «мигалка» с керосином, которую мы сделали из аптечного пузырька, потухла. Я знал, что приеду в Коканд к ночи, и ещё вчера с вечера со всеми простился. Попутчики пожелали мне хорошо у дяди устроиться, от мамы письмо получить... А старичок агроном, с которым мы ходили за обедом в походную кухню, велел мне разбудить его в Коканде — он хотел проводить меня к дежурному по вокзалу.

Но, когда поезд остановился, я так разволновался, что совсем забыл про старичка. Спрыгнул с нар, нащупал в темноте холодную щеколду, стал дёргать дверь. Она не сразу открылась. Я испугался — вдруг слезть не успею! Может, поезд тут мало стоит. Но дверь скрипнула, поехала на колёсиках и приоткрылась. Наконец-то!

Я высунул голову. Как раз перед теплушкой стоял с крохотными оконцами, маленький, хотя и трёхэтажный вокзал. Белый, со смешными стрельчатыми башнями, похожий на сливочный торт. На крыше вокзала стояли два прожектора. Они освещали вывеску с крупными буквами:

КОКАНД

Приехал! Коканд... Кругом вокзала было очень темно. Паровоз где-то загудел. Вдруг наш? Я опять заторопился.

Вытащил из-под нижней нары крючок из толстой проволоки, который всю дорогу служил нам вместо ступеньки. Прицепил его. Поставил ногу на крючок, спрыгнул. И тут только про моего старичка вспомнил. Эх, напрасно я не разбудил его! И кружку свою и ложки в теплушке оставил. Но на сердце у меня была такая радость, что я готов был в ладоши хлопать.

Вместо недели мы до Коканда ехали больше месяца — так медленно тогда ходили поезда! В последнее время мне казалось, что я всегда буду жить в вагоне, спать на нарах. А я приехал, я тут, в Коканде! Что скажет дядя Женя? Не поверит сперва... Свет зажжёт, электричество — тут нет затемнения. Ох, и надоела мне темнота и наша «мигалка»! Сам поверну штепсель, включу свет... И горячего чаю напьюсь. С сахаром. Сахар у нас давно кончился. Да и вообще надоела теплушка. Я все бока себе отлежал на жёстких нарах.

Поезд стоял на четвёртом пути. Перрон и рельсы были пустые. Я перебежал рельсы. Перрон приходился мне по самую грудь. Я опрокинулся грудью на деревянный настил, вскарабкался и пошёл по нему. А вот и железные ворота — выход в город.

Меня никто не остановил. Я прошёл ворота и очутился на площади. Куда теперь идти? Где Янги-Хайят, дядина улица? Ждать до утра у меня всё равно терпения не хватит. Сейчас же к нему отправлюсь... Узнаю у милиционера. Он где-нибудь тут стоит, на площади. Может, он меня проводит или попутчика найдёт.

Посреди площади стоял столб. На верхушке столба горела обыкновенная электрическая лампочка. Около столба лежал большой валун. На валуне кто-то сидел. Я подошёл ближе и увидел мальчика. Он сидел, опустив голову, как будто задумавшись. Я обрадовался и побежал к нему. Но мальчик поднялся и пошёл прочь от фонаря.

— Эй! — крикнул я. — Куда ты? Постой!

Мальчик остановился и повернулся ко мне. Он был немного выше меня. Лицо у него было бледное, и гля-

мне рассказывал об арыках, когда жил у нас. Вода потому так журчит, что она течёт с гор, издалека, со снежных вершин.

Улица была похожа на аллею в парке. Стволы деревьев были толстые, белые. Деревья походили на громадные свечи. Это были пирамидальные тополя. Вперемежку с ними росли не то ясень, не то ольха, с очень густой, словно летней, листвой. Я сорвал с нижней ветки лист и удивился: сухой, как бумажный. Почему же листья не осыпаются? У нас все леса давно голые стоят.

Луна поднялась высоко, а мы всё шли по той улице. Луна была и больше нашей, ленинградской, и стояла ниже, и светила ярче. Хоть читай при таком свете! Я видел низенькие светло-серые глиняные домики с плоскими крышами. У некоторых вовсе не было окон. У других по два окошка сидят у земли, а третьи, как слуховое, забралось под крышу. На иных домах все окна сидели как попало, неровно.

А мне всё равно и так нравилось.

За домами тянулись серые, тоже глиняные заборы, толстые, как стены у старой крепости.

А какой тут был свежий холодный воздух! Он мне казался очень душистым — ведь почти два месяца я путешествовал, жил в душном вагоне, привык, чтобы на вокзале пахло нефтью, мазутом, дезинфекцией.

И так мне понравилось в дядином городе, что я забыл о своем провожатом. А между тем мы опять перешли площадь и очутились в парке. Я увидел фанерный домик, вроде нашего ларька, где продают газированную воду. Тут я почувствовал, что очень устал. Мне захотелось отдохнуть. Да и картавый мальчик, мой провожатый, тоже, видно, устал. Он остановился и прислонился плечом к фанерному домику.

— Хорошо как тут, правда? — сказал я. — А идти ещё далеко?

Мальчик огляделся по сторонам. Уж не заплутались ли мы?

— Где же моя Янги-Хайят? — опять спросил я.

Мальчик опять огляделся. И сказал мне очень картаво, негромко:

— Раздевайся!

— Что? — переспросил я удивлённо.

— Раздевайся! — повторил он, и в горле у него так страшно забулькало, что у меня кровь в висках застучала.

Мне стало жарко, а потом очень холодно.

ВАТНИК

Я хотел отскочить, но мальчик схватил меня за воротник куртки и ногой пихнул в бок. Я упал. Картавый сорвал с меня кепку и ударил ею по голове. Я стал отбиваться от него, но он был сильнее меня. Он сорвал с меня наполовину куртку и навалился всем телом. Я упал. Мы стали кататься по земле, но, как я ни отпихивал его, он всё равно стащил с меня куртку.

— Отдай! — кричал я.

Но мальчишка быстро схватил куртку с земли и отбежал за фанерную будку. Потом выскочил оттуда, замахнулся... «Булыжником сейчас пальнёт!» — подумал я и закрыл лицо руками. На голову мне упало что-то мягкое. Это были ватник и ушанка. От злости и страха я еле дух переводил. Мальчишка уже исчез.

«Бежать надо отсюда да поскорее! У картавого, наверное, шайка, и они сейчас прикончат меня», — решил я. Схватил ушанку, ватник. А тут действительно раздались шаги. У меня мурашки по спине забегали. Я бросился к будке, но двери не нашёл — спрятаться было некуда. Шаги приближались. Я прижался к стене и зажмурился.

Что со мной будет?

Шаги остановились, и густой бас сказал:

— Эй, ты!

Потом кто-то схватил меня за плечи.

Я закричал и стал отбиваться ногами.

— Караул! — вопил я.

— Вот оно что! — пробасил человек. — Сопротивляешься? Хорош!

Я всё старался вырваться и кричал «караул».

— Чего ты орёшь? Приезжий, что ли? Эвакуированный? — сердито сказал человек.

И я почувствовал, что меня отпустили. Тогда я раскрыл глаза и увидел милиционера. Милиционера, понимаете? Я чуть не бросился ему на шею, хотя лицо у милиционера было сердитое.

— Почему в одной рубашке?

Зубы у меня так стучали, что я не мог унять их и с трудом выговорил:

— Я с вокзала. К дяде приехал. Только что... раздели.

Милиционер поднял с земли ватник, оглядел его и, покачав головой, сказал:

— Обобрали!

— Обобрали! — с возмущением повторил я.

— Сейчас отведу тебя на ночлег. Выспишься. А завтра утром дядю отыщем. Пошли! Запомнил, кто тебя обобрал?

— Мальчишка такой...

— Картавый?

— Картавый! — обрадовался я. — Вы его знаете?

— Мы всё знаем, — сказал милиционер сурово. — А у тебя что, голос пропал со страху? Я рядом на посту стоял. Что же ты молчал? Кричать надо в таких случаях!

— Я кричал, — попытался я оправдаться. — Громко кричал!

Но милиционер только рукой махнул. Видно, он считал меня трусом и больше не стал разговаривать.

ВЕРЕТЕНО

Ночь была холодная. Меня знобило. Я не мог опомниться от радости, только стыдно немного было: зачем раньше «караул» не закричал что было силы.

Впрочем, кто знал, что милиционер стоял рядом? Я ведь не сразу на обе лопатки улёгся — дрался, а картавый старше меня и сильнее... Мне очень хотелось рассказать милиционеру, как я отбивался от картавого, но мы остановились возле большого здания.

Милиционер дёрнул железный крючок, который висел у двери, и, не входя, сказал:

— Примите ребёнка!

Дверь захлопнулась за моей спиной.

Куда же я попал теперь? Я огляделся.

В большой прихожей у стены стояли вешалки. На вешалках висели одинаковые стёганные ватники, а сверху на полках лежали шапки-ушанки.

Налево я увидел освещённую лестницу. Возле перил стоял стол, за которым сидела высокая некрасивая женщина в белом халате. Она посмотрела на меня, улыбнулась и сказала:

— Кого бог послал?

На столе я увидел опрокинутый стул. К ножке его был привязан пучок косматой шерсти. Женщина всё так же улыбалась, смотрела на меня, а сама пальцами ловко прихватывала шерстинки, скручивала их. Из-под руки у неё тянулась серая нитка, которую женщина наматывала на острую деревянную палочку.

— Эвакуированный, — сказала она, — вижу! Сегодня за ночь третьего привели. Крутитесь вы, ребята, по белому свету, как моё веретено. Вот она, война-то, какая. Никогда такой не было... Подожди, я клубок сниму. Ты не думай, я не для себя стараюсь. Напряду ниток, свяжу носков. В подарок бойцам, на фронт. Теперь всё для фронта. — Тут она ловко сняла с палочки клубок шерсти, сказала: — Пошли.

На втором этаже мы свернули за угол, в коридор, и остановились перед дверью. Женщина повернула ключ, и мы вошли в маленькую комнату.

— Это карантинная, — сказала она. — Пока тут поживёшь. Проверим, не больной ли ты... А потом со

всеми ребятами жить будешь. У нас тут весело, народу хватает...

В комнате стояли две кровати, покрытые байковыми жёлтыми одеялами. Одеяла были подоткнуты под матрацы так ловко, будто на кроватях лежали большие пироги. А подушки стояли странно — одним углом вверх. Я сразу опустился на кровать и широко зевнул.

— Это что за мода? — сказала женщина. — Раздевайся. Ты не в эвакуопункте. Туфли снимай.

Внизу сильно позвонили.

— Опять, наверное, привели, — вздохнула женщина.

Она сама стащила с меня ватник и вышла. Я так ослабел, что глаза у меня сами закрылись, и так крепко, что я не мог их открыть. Я с закрытыми глазами растёгивал пуговицы рубашки. Они опять влезали в петли. Тогда я, не раздеваясь, лёг на жёлтое одеяло и заснул.

УТРО

Мне снилось, что гудит, отправляется наш эшелон, а я с чайником стою у кипятильника. Я проснулся, вскочил, увидел маленькую комнату. За дверью трубила пионерская труба. И я сразу всё вспомнил: эшелон, ночной Коканд, парк, картавого мальчишку...

Я посмотрел на грязные туфли, в которых вчера заснул, и слез с кровати. Стряхнул землю с одеяла, поднял ватник с пола. Из него клочьями вылезала вата, а грудь была такая блестящая, будто сапожник её начистил щёткой. Но этим я не огорчился. Ерунда всё это! Через час — от силы — дяде Жене и тётке Соне буду рассказывать все мои приключения. Я поправил одеяло, взбил подушку и поставил её углом вверх, как она вчера стояла, а сам весело размышлял:

«Коканд днём, наверное, ещё красивее, чем ночью! Я ведь его как следует ещё не рассмотрел. Горы тут, конечно, близко. Мне дядя Женя про них писал. Он

туда ездил — строил плотины на горных реках. И вниз, в долины, отводил каналы — арыки. «Тут всё не похоже на наше, — говорил дядя Женя. — Летом жара стоит страшная, дождей не бывает. А фрукты зреют, наливаются, и цветы не вянут, потому что везде вода по арыкам течёт, всё поливает».

Опять радость меня охватила, что наконец я приехал. Хотелось поскорее увидеть горы, рисовые и хлопковые поля, здешние сады и огороды.

Я накинул ватник на плечи. Толкнул дверь, вышел в коридор и спустился по лестнице в раздевальню. Где та женщина с палочкой-веретеном? Сейчас попрощаюсь с ней — и на Янги-Хайят...

Около лестницы стоял столик с тем же опрокинутым стулом, а женщины в белом халате не было. И я вышел на улицу. Вышел и зажмурился: солнце светит, теплынь. Совсем лето! На двери я прочёл: «Детприёмник».

Вот куда ночью меня милиционер привёл, в детприёмник! Я постоял немного, погрелся на солнышке и зашагал по улице. Решил идти прямо к дяде, на улицу Янги-Хайят.

«НИЧ ПУЛЬ»

Когда я дошёл до угла, мне пришлось остановиться: навстречу из переулка показался верблюд. Рыжий, косматый и, видно, злой — в наморднике, — верблюд шагал по мостовой.

Раньше я видел верблюдов в зоопарке. Этот был лучше. Он был высокий и очень гордый. Он презрительно смотрел на меня сверху вниз и важно шагал вперёд. По бокам у него висели большие корзины с белой ватой. Между горбами сидела старая, морщинистая женщина. На голове у неё была тубетейка, за спиной — две косы, длинные, чёрные. Женщина была одета в полосатое летнее платье. Она мерно покачивалась — откидывалась то назад, то вперёд, будто кланялась пустой улице.



За первым верблюдом шёл второй. Тоже большой, тоже с женщиной на горбу и с корзинами. За вторым шагал третий.

Один за другим верблюды всё шли и шли. Я глядел на их гордые морды, на корзины с ватой. «А ведь это хлопок! — догадался я. — Куда везут его? Наверное, на фабрику — пряжу делать, материи ткать!»

Я стоял на углу, считал верблюдов с корзинами. Со мной поравнялись три узбека в халатах. Я пошёл за ними следом. На улице теплынь такая, а халаты у них стёганые, ватные, как шубы, только с открытой грудью. Мне попалась навстречу маленькая узбечка с коромыслом на плечах. На концах коромысла, на верёвках, как гроздь, висели глиняные горшки. Я заглянул в них. В горшках что-то белело. Я пригляделся. Наверное, кислое молоко — простокваша. Странно, молоко носят, как воду, на коромыслах!

Меня перегнал узбекский мальчик, тоже в халатике, тоже с коромыслом.

Но у него на коромысле висели на верёвках цветные миски, похожие на полоскательницы. Это пиалы — здешние тарелки. По дороге у нас в теплушке многие таких накупили.

Мальчик шёл быстрыми шажками. Молоко в пиа-лах качалось, но не расплёскивалось. Я так засмотрелся, что чуть не споткнулся. На тротуаре стоял большой эмалированный таз с пузатыми треугольными пирожками. Перед тазом сидел на корточках старый узбек. Лицо старика и шея были совсем коричневые. На коричневом лице сверкали, как у негра, белки глаз.

Я опять посмотрел на таз с пирожками, и мне очень захотелось есть. Я искал в кармане деньги, которые ещё в Горьком дал мне на прощание лётчик. Не беречь же мне их — я сейчас буду дома! Я отдал старику деньги, а он протянул мне три поджаристых пирожка.

— Где тут Янги-Хайят, не знаете? — спросил я.

Старик пробормотал что-то по-узбекски. Я ничего не понял. Откусил половину пирожка и пошёл дальше. Начинка была из одного лука с перцем, и во рту у меня стало так жарко, будто я хлебнул кипятка. У меня даже слёзы покатались по щекам. Но пирожки были пахучие, очень вкусные. Сухая корочка похрустывала. Я ел пирожки, глядел по сторонам и думал:

«Увижу милиционера, спрошу, в какую сторону к дяде идти».

И увидел перед собой большую площадь. На площади под зелёными навесами стояли длинные столы, сарай с красивыми резными колоннами. Вокруг них столпилось много народу.

Это был базар. По узким кривым переулкам вроде коридоров, между глиняными заборами на базарную площадь шли люди с корзинами, ехали верхом на ослах... Я знал, что не надо мне на базар идти, давно пора мне к дяде Жене, но день был яркий, тёплый. Кругом пестрота такая... Я решил только взглянуть, чем в Узбекистане торгуют.

Когда я протиснулся к прилавкам, у меня в глазах зарябило. Чего только не лежало на столах: всякая незнакомая зелень, овощи, большие мешки с курагой.

Курага была оранжевая, как апельсиновые шкурки. Над ухом у меня кричали по-узбекски, по-русски. Всё время повторяли два слова: «нич пуль». Что такое «нич-пуль»?

— Нич пуль! — кричал старик в поддѣвке, конечно, тоже эвакуированный.

Он взял из мешка одну курагу, пососал её и опять крикнул:

— Нич пуль? Шалтай болтай йок!

Я рассмеялся. Шалтай болтай — очень смешное слово. А «нич пуль» — это, наверное, «сколько стоит». Рядом на столе лежал мешок с мелким синим изюмом. Подальше — мешок с грецкими орехами. Тут были и большие коровьи головы с мохнатыми ушами. В мешках лежали розовые мячики — гранаты. Вот сколько тут вкусного выращивают и во все города шлют! Пушистыми горами лежали петрушка, укроп и незнакомые шершавые листья.

Две девочки-узбечки стояли рядом со мной. У них были одинаковые оранжевые длинные платья. На широких платьях, будто змеи, расплзлись чёрные разводы. Платья у них раздувались, как паруса. А волосы были заплетены в мелкие тугие косички. Косичек было так много, что они, как платок, покрывали всю спину.

Одна девочка потихоньку стащила с прилавка шершавый лист. Пожевала его, выплюнула на ладонь и стала натирать жѣванным листом брови. Брови у неё стали тѣмно-зелѣные. Я засмеялся. Девочки взглянули на меня и побежали в ту сторону, где протекал арык.

На площади около арыка стояли ослики с пѣстрыми коврами на спинах вместо сѣдел.

Девочки побежали к арыку, и я пошѣл за ними.

Около арыка сидел кто-то на корточках, прикрывшись с головой серым балахоном. Это мужчина или женщина? Я сразу не понял. Вижу — рукава серого балахона пустые. Лицо закрыто волосяной сеткой.

Девочки нагнулись к волосяной сетке и заговорили, показывая на меня. Из-под сетки высунулась рука в серебряных кольцах. Рука откинула сетку. Я увидел лицо старухи. Тогда я вспомнил и догадался: это паранджа. Прежде, говорят, все женщины тут паранджу носили. А теперь мне первая встретилась. Брови у старухи были покрашены, верно, тоже листьями, в тёмно-зелёный цвет. Она нахмурила брови, погрозила пальцем и сердито крикнула мне:

— Коч! Коч!

Прогоняла меня. Мне очень хотелось ей сказать, что она несознательная и, наверное, потому и сердитая. Но потом решил ничего не говорить, перепрыгнул через арык и пошёл назад.

Теперь я шёл мимо горок с овощами. Тут же на земле стояли весы, около них на корточках сидели узбеки: они любят сидеть так. И, хотя я уже торопился, я невольно загляделся на овощи. Они были огромные и другого цвета, не такого, как наши. Вижу — белая горка лука.

«Нечаянно он в этом году такой белый уродился?» — подумал я. Рядом покупали репу. Неужели это репа? Вся репа была красная и лиловая. И крупная, как маленькие арбузики.

Я любил сырую репу. Интересно, какая она тут на вкус?

Я заметил под ногами маленькую репку. Нагнулся, хотел поднять её, но в это время кто-то выхватил её у меня из-под самых рук. Смотрю — передо мной... картавый!

Он стоял в моей тёплой ленинградской куртке, в моей клетчатой кепке и глядел на меня равнодушно.

Я оторопел. Страшная злоба вскипела во мне. Сейчас сквитаемся. Я сжал кулаки и двинулся на него.

— Не узнаёшь? — сквозь зубы выговорил я.

Но картавый изо всех сил толкнул меня в грудь. Я упал. Да, он был сильнее, и, главное, проворнее меня. Я ещё лежал на земле, а картавый стремглав мчался прочь.

ВОЕННЫЙ

Лёжа на земле, я кричал:

— Держите! Держите!

Картавый бежал не оглядываясь. У арыка он столкнулся с невысоким военным в очках. Одна рука у военного была на перевязи.

— Держите! — крикнул я отчаянно.

Военный протянул здоровую руку, чтобы задержать картавого. Но тот увернулся и опрометью помчался дальше. Военный что-то крикнул ему вслед, но мальчишка уже скрылся в переулке.

Не успел я подняться, как военный подошёл ко мне. Он был не очень молодой, невысокий и какой-то мешковатый.

И шёл он странно, чуть прихрамывая. Гимнастёрка, сапоги и даже очки казались ему не впору, велики. Но лицо у него было такое спокойное и глядел он на меня с таким сочувствием, что сразу понравился мне.

— В чём дело? — спросил он спокойно. — Подрался?

Волнуясь, я стал рассказывать, что ни с кем не дрался. Я эвакуированный. Сегодня ночью приехал, а этот мальчишка картавый меня в парк завёл, обобрал. Куртку и кепку отнял. Я показал грязный ватник, который картавый бросил мне.

Военный внимательно глядел на меня, слушал и наконец перебил:

— Ладно, ладно. Успокойся. Ночевать в парке больше не будешь. Ты откуда прибыл?

— Из Ленинграда!

Военный слушал меня так участливо, что мне захотелось всё рассказать.

— Больше месяца из Ленинграда ехал... — начал я.

— Один ехал?

— Один! В дороге от школьного эшелона отбился.

Ещё под Ленинградом. Потом в Поволжье попал. И сюда...

— Вот и хорошо! — улыбнулся военный. — Приключения свои ты мне потом расскажешь. А сейчас пошли.

— Куда? — удивился я.

— Ко мне. В детдом. На улицу Навои. Целы справки, бумаги твои?

— Справки-то есть, — сказал я, смутившись, — только я к вам не пойду.

— Это почему?

— Так ведь я к дяде приехал. В Коканде мой дядя живёт. Инженер Семёнов. Может, знаете?

— Ты к дяде приехал? И адрес его помнишь?

— Конечно, помню! Дом пять, улица Янги-Хайят...

Военный снова пристально оглядел мой грязный ватник, рваную ушанку.

— А ну-ка, покажи свои справки, — приказал он.

Я понял, что он не особенно верит мне. Торжественно вынул билет до Коканда, справку, по которой хлеб получал. Школьный мой билет остался в куртке, у картового... Военный посмотрел справку, отдал её мне и сказал:

— А на базаре тебе делать нечего! Пойдём, я тебя до улицы Янги-Хайят доведу. А то вон в какие истории попадаешь. Испугается инженер Семёнов, когда тебя в таком виде встретит!

Мне стало стыдно, что я столько на базаре проболтался. Но оправдываться я не стал. Мы пересекли площадь. На углу военный показал мне башню с балконом вокруг самой крыши и спросил:

— Мечеть видишь?

Башню с балконом я видел.

— Там, за углом, улица Янги-Хайят начинается. Понял?

Я было бросился бежать, но военный опять остановил меня:

— Только не задерживайся. И никуда не сворачивай. Я тут постою, посмотрю на тебя...

ЭВАКУИРОВАННЫЕ

Я простился с военным и побежал к мечети не оглядываясь. На первом перекрёстке прочёл надпись: «Янги-Хайят». Уф! Наконец я добрался до неё! Я даже несколько раз перечёл название улицы, не веря своим глазам. Вот она, улица, которую я себе столько раз рисовал в воображении.

Она мне показалась именно такой, как я думал. Солнечная, зелёная, широкая. С одноэтажными красивыми белыми домами. Я на всю жизнь запомню, как шёл по ней. В душе у меня всё замирало от необыкновенного счастья... Хоть я ещё не взрослый, но и молокососом себя не считаю: вполне самостоятельный человек. Когда жил в Ленинграде, хотел объехать весь мир, всю жизнь путешествовать. А сейчас сам себя не узнавал. Думаю: дудки, теперь меня из дома долго никуда не вытянешь. Три дня на улицу не покажусь. Улягусь на диван с книгой... Сяду за стол, буду дяде Жене и тёте Соне описывать все свои приключения...

А они? И тут я невероятно возгордился. А всё-таки я герой. Скажете, не герой? Через всю страну колесил. Дядя Женья, наверное, сам скажет: «Молодец наш Юлька! Один добрался!» А я ему скажу... И увидел серый дом с красивыми колоннами. На доме висела крупная чёрная цифра «5».

Я взошёл на крыльцо по каменным ступеням и постучал.

Никогда я не думал, что в эту последнюю минуту буду так волноваться. Меня даже знобить начало. Но мне не открывали. Я подождал ещё немного и постучал сильнее. Тогда дверь открылась. На пороге появилась незнакомая высокая худенькая девушка. Она была хорошенькая, хотя курносая, со светлыми волосами. Губы и ногти у неё были очень красные — покрашенные.

— Инженер Семёнов тут живёт? — спросил я.

— Уехал! — ответила девушка с покрашенными

губами. Она хотела уже захлопнуть дверь, но тут же ласково спросила: — Тебе хлеба дать?

Сердце у меня быстро-быстро заколотилось. Куда он уехал?

— Не надо, — сказал я тревожно. — А тётя Соня, Семёнова, тут?

— Нет, — ответила девушка, — она теперь в Баку живёт. Когда инженера Семёнова взяли в армию, она к родителям в Баку уехала. А ты зачем пришёл? — спросила она участливо.

Я совсем растерялся.

— Я приехал. Из Ленинграда. Я племянник.

Девушка всплеснула руками:

— Я ведь тоже ленинградская, эвакуированная!

Она подумала и прибавила:

— Бедненький!.. Что ты теперь делать будешь?

Я молчал. В глазах у меня ещё от базара рябило: красные мушки плыли перед глазами. Неужели дядя Женя уехал? Неужели это правда?

— Не знаю, что мне делать, — сказал я растерянно. — В Ленинград уеду!

— В Ленинград нас, эвакуированных, теперь не скоро пустят! — сказала девушка. — Теперь ездить вообще нельзя. Поезда нужны для армии, для всяких важных грузов. И потом, нужен пропуск. А кто без разрешения ездит, того обратно возвращают.

— Всех? — спросил я.

Она кивнула головой. Постояла и предложила:

— Войди!

Я вошёл за девушкой в тёмную прихожую. Девушка открыла вторую дверь, и я будто в оранжерею попал. Около большого окна стояли кадки с пальмами и такими крупными растениями, что зелёные ветки доставали до потолка. Ни у кого ещё я не видал такой красоты в комнатах!

— Погоди, — сказала девушка и вышла за дверь.

Я стал оглядывать стены, на них висели портреты. «Да это мой папа и дядя Женя! — обрадовался я. — Мальчиками. На крыльчке бабушкиного дома.

В Поволжье. У нас такая же карточка в Ленинграде осталась». Я подошел поближе к стене. На другой карточке уже мы троим. В Гатчине, в пионерлагере, снимались. Удивительно как! Нет, правда ли дядя Женя уехал? А если бы он здесь был, как мне хорошо бы жилось в Коканде!

Девушка вернулась в комнату и велела мне сесть к столу. Она поставила на стол кружку чая и тарелку. На тарелке лежали хлеб и маленькая конфетка — подушечка.

— Видите, — показал я, — это мы на карточке: папа, мама и я. Папу в финскую войну убили. А мама сейчас на фронте... А вы тут писем от неё не получали? — вспомнил я. — Мама обязательно должна сюда письмо прислать. Может, оно уже пришло?

Девушка молча покачала головой. Я сел к столу. Во рту у меня было сухо, в груди жарко. Голова болела. Я взял кружку, стал пить чай большими глотками и выпил залпом.

Девушка взяла кружку со стола, но второй мне не предложила. Не глядя на меня, она стряхнула со скатерти крошки, вышла, вернулась с половой щёткой и стала подметать пол. Потом принялась двигать кадки с цветами. Она сделалась какая-то другая, сердитая. Видно, ей хотелось, чтобы я поскорее ушёл. А я всё сидел за столом. Ноги у меня стали тяжёлые, как пудовые. Неужели я заболел? Что мне теперь делать?

— Знаешь что, — сказала девушка, — я сейчас...

Она поставила зеркало на стол, повязала на голову клетчатый платок, кончиками, как рожками, наперёд.

— Я сейчас ухажу, — сказала она, — мне надо обязательно уходить.

Я даже обрадовался, подумал — она меня оставит в дядином доме, я прилягу на диван, отдохну.

— А ты, — сказала мне девушка, — обязательно иди в гороно — в городской отдел народного образо-

вания. Там эвакуированных детей в детдома уstraивают. Давай вместе пойдём, я тебе покажу, куда идти надо.

Я был в каком-то тумане. С трудом поднялся и пошёл за девушкой. Девушка вывела меня на улицу, что-то быстро объяснила и ушла в другую сторону. А я пошёл по улице снова к базару. Скоро я очутился около мечети, оглянулся и увидел, что девушка уже вернулась, стбит на крыльце, отпирает дверь. Потом она вошла в дом и захлопнула за собой дверь.

Значит, ей никуда не надо было уходить! Она всё это придумала. Ушла для вида, чтобы не оставлять меня в доме.

«Тоже хороша! — подумал я. — Вроде бабушкиных жильцов в Поволжье». Может быть, я всё-таки вернулся бы к ней. Но я вспомнил военного с рукой на перевязи. Мы с ним здесь расстались. Он обещал даже поглядеть мне вслед. Вот кто поможет мне. Обязательно поможет. Ведь он сказал: «Пошли ко мне в детдом». Это учитель, директор, наверное... Замечательный он. Он не похож на эту девушку. Сам позвал к себе. И я пойду к нему, сейчас отправлюсь. А устроюсь, напишу дяде Жене, тёте Соне, какие жильцы в их доме поселились... Но куда мне идти?

Я остановился на перекрёстке и стал припоминать улицу, которую назвал военный. Я ругал себя, злился, что не запомнил адреса детдома. И не мог вспомнить. Передо мной была базарная площадь с той же толпой, осликами у арыка. В толпе мелькали пилотки, шинели, гимнастёрки. Может, он ещё тут, военный?

Я пробрался к столам. Военного не было.

Теперь на столах я увидел глиняные горшки с молоком, похожие на чугуны, выдолбленные сухие тыквы с простоквашей. Голова у меня кружилась, очень хотелось пить. Горло болело. Сесть бы, прислониться к чему-нибудь...

Я не помню, как выбрался с площади.

Помню только, что сидел на крылечке и отдыхал. Я всё время хотел подняться и отправиться искать военного. Но голова болела всё сильнее, ноги не шли, глаза слипались...

Я поудобнее прислонился к холодной стене дома и закрыл глаза.

Наверное, я спал долго. Когда я проснулся, надо мной, наклонившись, стояла пожилая женщина в белом халате. На мостовой я увидел пролётку с белым чехлом на сиденье и рыжую лошадь.

Я посмотрел на женщину и опять закрыл глаза.

— Встать можешь? Попробуй! — сказала она ласково. — Повезу тебя в городскую больницу.

Она посадила меня на пролётку, и я опять уснул, откинув голову на жёсткую подушку. В полусне я слышал, как тряслась пролётка по камням мостовой. Как я очутился в больнице, не помню.

В БОЛЬНИЦЕ

Я болел три месяца, сразу корью и воспалением лёгких. Лежал я в углу, за круглой, из чёрной жести печкой, у самого окна, в палате для мужчин. Но в больнице я не скучал.

Ко мне за печку часто заглядывала больничная нянечка Галя. Гале было семнадцать лет. Она была, как я, эвакуированная. Она мне напоминала маму. У Гали тоже были гладкие чёрные волосы. И руки тёплые и мягкие. Лицо у Гали было круглое, как у панночки из «Майской ночи» Гоголя. Но Галя была не грустная, как панночка, а весёлая. Она рассказывала про Украину, про свою белую хатку с мальвами, братишку Петю. Она говорила, что её Петя похож на меня.

Она часто так и называла меня:

— Братик мой хороший!

Мы любили вспоминать родных.

— Отец с первого дня войны ушёл на фронт, —



*Надо мной, наклонившись, стояла пожилая женщина
в белом халате.*

рассказывала Галя. — А мама у меня знатная доярка. Доминика Кривенко... Не слышал?..

— Нет!

— Эх ты, ленинградец! Про неё даже в газетах писали. Как немец стал подступать, председатель колхоза и говорит: «Доминика Петровна, гоните наше стадо на восток. Спасайте народное добро!» Мама собрала своих доярок, телятниц. Завязала два платья, шерстяную кофту — в головной платок. Расцеловалась с нами. Велела мне с Петей не разлучаться... Тебе сколько лет?

— В декабре одиннадцать.

— И Пете в декабре, — радовалась Галя. — Я говорю, ты братик мой, хороший! Ушла мама, а назавтра наш учитель, бывший красный партизан Семён Антонович, старик уже, шестидесяти лет, приходит к нам. «Пора, — говорит, — ребят эвакуировать. Немцы соседнее село заняли». И собрал всех учеников, посадил их в школьный эшелон...

— И сам с ними уехал?

— Люди говорят, уехал. А мне не верится. Наверное, наш Семён Антонович в партизаны ушёл.

— А Петя?

— Семён Антонович так моего братика любил... А за что? За дело! Ты как учился? Честно говори!

— А как ты думаешь? Хорошо!

— И Петя хорошо. Даже отлично... Так я мечтаю — мой братик с Семёном Антоновичем ушёл. Он тоже был как ты — непоседливый. Такой — всё ему надо... Братик мой хороший, мама моя, отец родной, где вы теперь? Вспоминаете свою Галю?

Галя принималась плакать, а я утешал её. Ведь она тоже меня всегда утешала. Галя разыскивала своих родных, ходила в военкомат, в эвакуопункт — и в Коканде был тоже эвакуопункт. Она отправила три моих письма в Ленинград, маме. Только ни я, ни Галя ответов ещё не получили.

О нашей дружбе знала вся палата. И больные

утешали нас: скоро и на нашей улице будет праздник. Тут много лежало эвакуированных. Некоторые уже отыскивали своих близких.

А лечил меня седой неразговорчивый доктор-узбек. Я сперва боялся его, хотя Галя говорила, что он добрый. Так оно и было, потому что однажды он принёс мне много газет. Там было даже несколько номеров «Пионерской правды». Я так обрадовался, что обнял старого доктора за шею, а потом испугался: что это я делаю! Но доктор сам был доволен и даже шутя угостил меня подзатыльником. Я сразу разложил газеты на кровати, стал читать их. На другой день доктор принёс мне три альбома, и я возликовал ещё сильнее.

В альбомы я срисовал все наши ордена и медали и стал расклеивать портреты героев, фотографии разрушенных фашистами городов, разные интересные статьи и рассказы. Мои альбомы понравились всем. Их читала вся палата. Старый доктор тоже садился возле моей постели на стул и молча рассматривал их.

Потом он ещё принёс мне кипу истрёпанных журналов «Вокруг света».

Они тоже были очень подходящие!

На больших страницах была нарисована всякая всячина — знаменитые люди, учёные, разные редкие марки, ядовитые змеи, самые высокие горы. И даже какие-то волосатые люди — уроды. Мне больше всего нравились описания океанских островов, тропических стран, горных пиков и ледников.

Как-то я рассматривал с Галей картинку и увидел в больничном саду мальчика. Он стоял перед моим окном в байковом халате, в пилотке и что-то кричал мне.

— Мальчик! — обрадовался я. — Галя, смотри, тоже мальчик.

Но слов его мы с Галей не разобрали. Верно, он звал меня гулять в больничный сад.

На следующий день он опять пришёл к окну. Мы

попробовали сперва разговаривать руками и всякими жестами, а потом я догадался — написал записку и прилепил её к стеклу: «Ты откуда?»

Мальчик поднял правую руку. Вместо кисти у него была култышка в марлевой повязке. Мальчик дотронулся култышкой до пилотки и стал писать култышкой по воздуху. Я опять ничего не понял, а Галя решила, что это фронтовой военный мальчик, может, даже юный партизан с Украины. Я тут же настроил и прилепил к стеклу новую записку: «Ты партизан?»

Мальчик важно кивнул головой. Потом покраснел и умчался. В тот день я больше не видел его, а когда он появился на следующее утро, я нарочно выискал в моём альбоме фотографии партизан, героев-лётчиков, танкистов и стал прикладывать их к стеклу. Мальчик подолгу любовался ими, а потом делал знак рукой, чтобы я перевернул страницу.

Он приходил к окну по нескольку раз в день. Партизан был неунывающий человек и ловкий, как циркач: показывал мне разные фокусы и умел делать уморительные и страшные рожи, хотя Галя за это бранила нас.

— Во время войны не кривляются! — сердилась она. И грозила Партизану пальцем.

Через неделю весёлый мальчик вдруг пропал. Галя сказала, что его выписали.

— Выписали? А куда он делся?

— Наверное, в детдом определили.

«Вот как...» — подумал я.

Мне не хотелось в детдом. В больнице я прижился и не думал почему-то, что со мной дальше будет, куда я отсюда денусь. Но тут я впервые спросил Галю:

— А меня куда? Тоже в детдом?

— Не бойся, там тебе хорошо будет, — сказала Галя. — В детдом сейчас многие ребята просят, даже из тех, которые с родителями приехали. Там и тепло, и сытно, и весело. Кино показывают каж-

дую неделю, концерты устраивают, самодеятельность... В детдом даже попасть трудно. Имей это в виду!

Я понимал, что она меня успокаивала, и даже обрадовался, что в детдом попасть трудно. Может, как раз я и не попаду?

— А если меня туда не устроят?

— На улице не останешься. В крайнем случае при больнице поживёшь. У нас одинокий сторож жил, позавчера на фронт ушёл. Его комната пустует. Вот и вселим тебя.

Я даже размечтался, что заделаюсь сторожем, буду сидеть на табуретке у ворот и впускать посетителей. Вскоре неразговорчивый доктор разрешил мне встать с постели. Галя принесла мне шлёпанцы и мужской байковый халат. Когда я в первый раз встал, ноги в коленках у меня подогнулись, а пол оказался где-то далеко. Верно, я сильно вырос, пока лежал в больнице. Два дня Галя водила меня под руку, но вскоре я окреп.

И через неделю меня выписали. Нашлось всё-таки мне место в детдоме.

В своём кабинете доктор-узбек выслушал мне грудь через трубку, постучал холодным молоточком по спине и простился за руку.

— Прощай, путешественник! — сказал он. — Вот тебе направление в детдом. Поживёшь пока там. А как война кончится, домой вернёшься. Тогда маме передашь наш узбекский привет.

Оказывается, Галя ему сказала, что моя мама тоже врач.

Он подал мне бумагу с печатью, потрепал по плечу и ушёл. Я сразу стал торопить Галю принести мои вещи:

— Скорей, скорей, Галя! Как бы не опоздать.

Галя уговаривала меня не спешить, смеялась надо мной:

— Глупый! Это ведь не поезд. Не опоздаешь!

Но я не соглашался:

— Надо ещё найти детдом. Добраться... Понимаешь?!

Дорога в приёмную по коридору показалась мне очень длинной.

Галя подала мне ленинградские штаны, рубашку с молнией. В кармане рубашки нашёл мамину розовую расчёску, красный мелок. Сальный ватник и рваную ушанку я думал оставить тут — не хотелось в таком виде являться в детдом. Но Галя не позволила мне выйти раздетым, сказала, что на улице ещё прохладно, а в детдоме меня всё равно переоденут во всё новое.

Когда мы с Галей вышли на крыльцо, я зажмурился. День был такой яркий, солнечный. Пока я болел, в Коканде настала весна. Земля в больничном саду была покрыта серой прошлогодней травой, но везде пробивались острые зелёные травинки. Деревья стояли ещё голые, но на ветках уже набухали коричневые и красноватые почки. И висели красные длинные серёжки.

Я шёл рядом с Галей по дорожке к воротам, как по ковру, и нарочно топтал красные серёжки тополей.

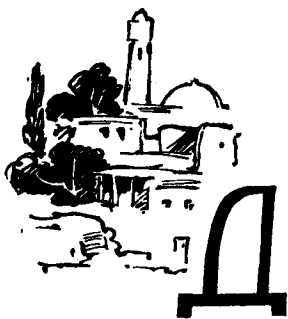
Они сыпались с деревьев мне на голову, на плечи.

У ворот я остановился. Взглянул на Галю. Не хотелось мне уходить. Пусть в детдоме и кино, и концерты, но тут я привык ко всем. Я с грустью посмотрел на сторожку у ворот, куда уже поселилась недавно новая сторожиха, прижался к Гале головой. Она тоже расстроилась, всхлипнула, обняла меня и сказала:

— Не бойся, я тебя навещать буду. Не робей! Я тебя не брошу, братик мой!

Погода стояла тёплая. Воздух был такой светлый, будто солнце распустилось в нём, как сахар в стакане чая. И мне стало легче. А может, в детдоме тоже будет хорошо!

И я вышел из ворот больницы на улицу.



Детдом находился в старом городе, где прежде, до революции, жили одни узбеки, где все дома были глиняные, с плоскими крышами, и стояли они за толстыми глиняными заборами. Ещё в больнице Галя объяснила мне, как надо идти туда. Я дошёл до конца широкой улицы, на которой была больница, свернул налево к речке, перешёл через мост и сразу понял, что попал в старый город. Теперь я шёл по узкому переулку между глиняными заборами. Домов здесь не было, в переулок выходили только маленькие двери — деревянные, тёмные от старости, но красивые, с мелкой резьбой. За заборами виднелись плоские крыши с трубами. А где же детдом?

Переулок так часто поворачивал то вправо, то влево, что мне несколько раз казалось, что я попал в тупик. Но я огибал угол и шёл дальше.

По таким кривым переулкам я никогда не ходил — лабиринт настоящий.

Я стал бояться, что заблудился, когда вдруг увидел трёхэтажное каменное здание. На стене его была прибита синяя табличка.

Детдом! Нашёл наконец...

В глиняном заборе вместо резной двери была синяя калитка. Я толкнул её и вошёл во двор.

Он показался мне странным — голый, без единой травинки, и серый, как заборы в переулке. Три дерева росли посреди двора. Под деревьями на скамейке сидел мальчик. Я направился к нему, но меня окликнули:

— Тебе кого?

Я обернулся и заметил слева, у забора, под фанерным грибом девочку. На ней было красное платье с белыми горошками. Я сразу вспомнил наши ленинградские чашки — точь-в-точь как платье у девочки. Её волосы были очень светлые и пушистые, как одуванчик. На коленях она держала прыгалки.

Девочка встала с лавочки, поглядела на мой грязный ватник, рваную ушанку, взмахнула прыгалками, опять села и спросила:

— В детдом идёшь?

— Да. К директору.

— Проходи! — сказала девочка. — Ну иди же...

Я понял, что она дежурная. В глубине двора стояли четыре флигеля. «Куда же идти?» К девочке мне почему-то не захотелось обращаться с таким вопросом. Мальчишку, что ли, спросить? Он сам шёл ко мне. Мальчишка был курносый. Лицо у него было озорное. На щеке сидела чёрная родинка, какие у девчонок бывают. Он остановился, сунул руки в карманы длинных штанов, поглядел на мой сальный ватник, ушанку и ухмыльнулся, хотя смеяться ему было нечего. Сам был не великим франтом: на голове мятая военная фуражка, штаны сатиновые и тапки на ногах. Так ничего и не спросив у него, я повернулся, но мальчишка сам заговорил со мной.

— Эвакуированный? — спросил он.

— Ага...

Я ждал, что он спросит, откуда я, но мальчишка пренебрежительно проговорил:

— Все эвакуированные — куски и довески!

Слова его были глупые, и я засмеялся ему в лицо.

— Я — довесок? — спросил я.

— А кто же! — ответил мальчишка.

Тут он вынул из кармана вишнёвую косточку, показал её мне, сунул в рот и стрельнул косточкой мне в щёку, а сам бросился к фанерному грибу. Вот когда я вскипел от злости! Я решил, что в обиду не дам, схватил с земли что-то и со всего размаха швырнул

в мальчишку. Он отскочил в сторону, а девочка с прыгалками закричала на весь двор и села на землю. Я сперва не понял, почему она плачет.

На крыльцо из самого большого флигеля выскочила старуха в чёрном платке с красными цветами. За ней — невысокий черноволосый взрослый мальчишка. На шее у него был пионерский галстук. По годам это не пионер. Я догадался, что это вожатый. Девочка закричала ещё громче. Мальчишка с родинкой помчался за угол флигеля и спрятался. А я остался посреди двора и решил ждать, что будет дальше.

КАМЕНЬ

Старуха наклонилась над девочкой, подняла с земли что-то и показала вожатому:

— Товарищ Садыков! Гляди-ка, товарищ Садыков! Батюшки мои, камнями бросаются. Вот до чего дошло! А если бы в глаз попало?

Камень? Но ведь я не первый начал. И в девчонку не метил, она сама подвернулась и, наверное, с перепугу ревёт. Притвора!

Вожатый взял камень и крикнул мне:

— Кто у дерева стоит? Иди сюда. Быстро!

Голос у него был громкий, командирский. Старуха стаскивала чулок с ноги девочки. Чулок был в крови. Я испугался.

— Откуда явился? Отвечай! — сказал вожатый.

Я нерешительно подал ему направление с печатью. Он развернул бумагу, но читать не стал и так же отрывисто спросил:

— С какой стати камнями бросаешься? Ну?

Я не знал, что ответить — жаловаться на курносого мальчишку не хотелось, а то сразу признают меня ябедой.

— Это направление, — наконец выговорил я. — Я из Ленинграда приехал.

— Пионер? — спросил вожатый.

Я кивнул головой.

— А ведёшь себя не по-ленинградски и не по-пионерски.

Вожатый взял мою бумажку, сказал что-то старухе, назвав её тётей Олей. Девочка в красном платье поднялась с земли, хромая, подошла к вожатому. «Притворяется, неженка!» — подумал я. Вожатый поднял прыгалки, взял девочку за руку, и они вместе пошли к маленькому дому в глубине двора.

А я стоял у дерева, не зная, что делать. Почему на ребят обязательно всякие несправедливости валяются? Хорошо взрослым жить. А тут с тобой каждую минуту всякая ерунда случается. Разве я хулиган? Никогда им не был. Просто таким, как этот мальчишка с родинкой, надо отпор давать. Необходимо! Чтобы не воображали, что их боятся. Иначе от них житья не будет... А получилось наоборот. Я же и виноват. И даже неизвестно, приняли меня или нет. Вожатый ничего не сказал, бросил одного во дворе и ушёл.

И я сердито посмотрел на старуху.

— Ты что исподлобья смотришь? — сказала она мне. — Недоволен? Ох, и распустились вы без родителей! Государство им всё в первую очередь предоставляет, ради них и кровь проливают на фронте — они ничего не ценят!

— Мы-то ценим... — начал я.

— Да что я с тобой разговаривать буду? — перебила она. — Пусть с тобой директор, Осип Петрович, поговорит. А моё дело маленькое. Идём в бельевую. Вожатый Садыков велел тебя переодеть и в канцелярию прислать... Нет, распушенные вы, эвакуированные. Я сама эвакуированная. Мне за вас стыдно...

Старуха не переставая корила меня, пока мы шли по двору. Так мы и взошли на крыльцо трехэтажного дома, попали в коридор, из него — в большую комнату. В комнате стояли сундуки, обитые жестяными полосами — лентами. По стенам на полках лежали одеяла, подушки, полосатые тюфяки.

Это была бельевая.

Галя говорила, что в детдоме мне всё новое дадут. Неплохо будет отделаться от сального ватника и рваной ушанки.

Я смиренно уселся на табуретку посреди бельевой.

ДЕВОЧКИНО ПАЛЬТО

Тётя Оля, так звали старуху, открыла один сундук и не спеша подошла ко мне.

— Ну и ватник у тебя! — сказала она. — До чего страшный! Постой, бельё погляжу. Нет, бельё у тебя чистое. И рубашка ничего. Ну ладно, после бани я тебя во всё наше переодену. А пока ватник снимай. И шапку давай.

Тётя Оля стала выкладывать из сундука ватники, шубы, куртки. Я глядел, как она роется, а сам думал:

«А всё-таки, как ребята живут в детдоме? Галя меня сюда самодеятельностью и концертами завлекала... Но очень тут строго? Или привыкнуть можно? Хоть бы Галя не забыла обо мне! Сегодня, наверное, уж нельзя, а завтра обязательно к ней сбегая. А если очень придираются будут, уйду назад, в больницу, не сторожем, так поварёнком устроюсь. Галя меня не прогонит. И доктор пожалеет».

А тётя Оля, забыв про меня, рассматривала каждое пальто, выворачивала обшлага, дёргала пуговицы и всё откладывала на табурет. Она долго рылась в сундуке и, пока вынимала брюки, ватники, я приглядел себе бархатную коричневую курточку. Пока я разглядывал её, тётя Оля достала суконное пальто с серыми пуговицами в золотых ободках. Она долго вертела его в руках, вздыхала, встряхивала и наконец протянула мне.

— Вот тебе пальтишко! — сказала она. — В самую пору...

Я взял пальто. Поглядел на пуговицы. И молча положил на табуретку. Это пальто нельзя было носить — в нём прежде какая-то девчонка ходила.

— Что, не нравится? — сурово сказала тётя Оля. — Скажите, какой модник к нам заявился! Пальто ему не нравится.

— Я не модник, — ответил я, — а просто это пальто девочкино. Отдайте мне ватник. Я это пальто не возьму.

Тётя Оля молча посмотрела на меня и стала бросать в сундук ватники и шубы. Набросала их до самого верха, захлопнула крышку. Выпрямилась и сказала:

— Ты с дракой вошёл в детдом?

— Я?

— Может, скажешь, что ты в жизни ни с кем не дрался?

Наверное, тот же парень с родинкой нашёл бы что ответить тёте Оле. Я решил поступить по-другому — взял пальто, надел его. Застегнул на все пуговицы. И глаза у меня стали мокрые, я заморгал... Ведь ребята засмеют меня в этом пальто. Но разве эта старуха понимает что-нибудь в наших ребячьих делах!

— Можно уходить? — спросил я.

Она молча взглянула мне в лицо. Подёргала пуговицы на моём пальто. Я видел, что старухе было жалко меня. Она поискала что-то на полках, нашла шапку с ушами, совсем новую, и протянула мне.

— Ладно уж, — сказала она, — бери эту. По утрам холодно. Хорошо в ней будет... Ну, иди! А если увижу, что ты парень самостоятельный, я тебя не обижу. Новенькое пальтишко дам. Горе, а не жизнь! — сказала она и стала рассматривать мой сальный ватник.

ВИНЕГРЕТ

Всё равно от тётки Оли я вышел расстроенный и сбитый с толку. Навязала она мне это пальто с женскими пуговицами! Не надо было его брать. Проходу мне из-за него не будет. Даже Галя, может, не пожа-

леет, а скажет: «Какой же ты, Юлька, покладистый! Мой братик напористее был». А что, разве не правда?!

Я вышел на крыльцо, огляделся и вижу — во дворе выстроились две длинные шеренги ребят.

В одной шеренге стояли мальчики. Одеты они были одинаково: в синие ватники, длинные сатиновые штаны. В другой шеренге стояли девочки в разноцветных платьях и коричневых курточках. Лучше мне не показываться, подождать на крыльце, пока ребята уйдут. Тут мальчики по-военному повернулись и зашагали гуськом к длинной застеклённой террасе, а девочки остались.

В шеренге я заметил ту беленькую девочку, в которую я угодил камнем. На ноге у неё была марлевая повязка. Значит, всё же здорово я ей ногу поранил... Но девочка не смотрела в мою сторону. Она весело разговаривала с соседкой, наверное, узбечкой — девочкой в пёстрой тюбетейке, с чёрными мелкими косичками, в широком, длинном до пят платье.

Девочка в тюбетейке слушала, а сама смотрела на меня. Лицо у неё было некрасивое, смуглое, большое, но приветливое и умное. Стояла она как-то независимо и глядела на меня важно, как хозяйка.

— Чего стоишь? — спросила она глухим, не русским говором. — Становись в строй. Мы в столовую идём. Обедать пора.

Хоть я и решил, что лучше к Гале вернуться, но всё равно очень обрадовался, что меня позвали. Сбежал с крыльца, стал возле узбечки, и мы отправились через двор к террасе. Стеклянная терраса была уставлена столами и скамейками. Ребята гуськом шли вдоль столов и быстро рассаживались, будто играли в «море волнуется».

Я тоже поспешил сесть, нечаянно толкнул узбечку. Она обернулась и сказала строго:

— Не толкайся! Мальчишки всё равно вон где едят.

Узбечка показала на соседний стол, за которым

сидели одни мальчишки. В конце стола я заметил свободное место, пошёл туда, сел на край скамейки. И вижу — рядом сидит курносый, с родинкой. Я встал... И опять сел. Другого свободного места не было, да и трусом решил себя не показывать.

Из окошка в стене кто-то начал подавать тарелки. Две высокие девочки в белых халатах брали из окошка тарелки и разносили по столовой.

В это время в столовую вошёл быстрой походкой вожатый Садыков.

Я немного смутился, сунул руки под стол, опустил голову. Может, нельзя было без спросу садиться обедать? Заговорить с вожатым об этом при всех я стеснялся...

В это время девочка в халате поставила передо мной тарелку. В тарелке был винегрет. Не успел я вынуть руки из-под стола, как мальчишка с родинкой передвинул мою тарелку себе, а свою отдал соседу. Взглянул на меня, засмеялся и стал есть винегрет.

В столовой зазвенели тарелки, ложки. Все кругом ели, а у меня даже тарелки не было. Я уже хотел встать и подойти к Садыкову. Так я бы и сделал. Но мальчишка с родинкой вдруг откуда-то достал пустую тарелку с отбитым краем и поставил передо мной.

Тогда уж я не выдержал. Повернулся к мальчишке, вцепился обеими руками в его плечи... И увидал, что к нашему столу идёт Садыков и сердито грозит мне пальцем.

Слёзы сами брызнули у меня из глаз. Думаете, потому, что я рёва? Нет. Я ещё не совсем поправился, слабый был... Я закрыл лицо руками и заревел. Реветь при всех мне было очень стыдно, но справиться с собой я не мог, хотя и понимал, что свой авторитет теряю. Я отпихнул курного, выбрался в проход и выбежал из столовой. Двор был пустой. Я бросился к калитке. Пробежал мимо фанерного гриба, когда калитка распахнулась.

Во двор, прихрамывая, вошёл немолодой военный в очках, с рукой на перевязи. Это был тот военный, с которым я встретился в день приезда на базаре. Которого я так хотел отыскать! Здоровой рукой он поймал меня за плечи и знакомым спокойным голосом спросил:

— Мчишься куда? Послушай-ка... Ревёшь о чем?

Я захлёбывался от слёз и ничего не мог сказать. Он прижал мою голову к себе и сказал на ухо:

— Постой, дружище, девочки идут... Довольно реветь.

Я ОСТАЮСЬ

Из столовой вместе с Садыковым шла к нам девочка, в которую я угодил камнем. Я вытер слёзы, всхлипнул в последний раз и насторожился. В больнице я вспоминал военного. Гале о нём рассказывал. Мне сейчас показалось, будто я увидел старого знакомого. Это счастье, что я встретил его! Только вожатый такого ему наговорит... И эта девочка. Зачем она сюда бежит? Ишь, торопится! Ябедничать будет...

Она подбежала первая.

— Осип Петрович! — сказала она военному. — Видите, плачет новенький. Это его Славка довёл. Правда, Славка! Славка новенького сперва куском обозвал, довеском. А потом винегрет отнял. Новенький из-за него не обедал.

Я глядел на вожатого, на девочку и боялся радоваться. Неужели вожатый не мне, а мальчишке с родинкой, Славке, грозил? А девочка не сердится, что я в неё камнем... Значит, она только с виду неженка?..

— Постой, Зорька! — строго сказал военный. — Не тараторь.

— Я не тараторю, я объясняю! — сказала она.

Она подошла ещё ближе к военному и стала рас-

сказывать, как Славка сунул в рот косточку и стрельнул. Вожатый перебил её.

— Осип Петрович, — обратился он к военному, — со Славкой я говорил. Он сегодня в строю перед новеньким извинится. А вот этот молодец тоже, видно, боевой! Камнями бросается. Это дело?

Я украдкой взглянул на военного. Конечно, не дело. Я вспомнил, как военный встретил меня на базаре, когда я с картавым дрался. Но девочка участливо смотрела на меня. У Садыкова лицо тоже было добродушное.

— Ты куда это мчался? Бежать собрался? — спросил он.

Сознаваться в этом мне не хотелось, и я замылся.

— погоди, Садыков, — рассудил Осип Петрович. — Сейчас разберёмся. Мне кажется, мы с этим пареньком знакомы?

У меня словно гора с плеч свалилась.

— Знакомы! Мы на базаре встретились. Я ленинградец. Вы меня к дяде провожали. На улицу Янги-Хайят. Я вас искал, только адрес забыл. Ведь мой дядя в армию ушёл. А потом я три месяца в больнице лежал.

Много раз я потом вспоминал свою неожиданную встречу с Осипом Петровичем. Вспоминал и радовался. Не встретить я тогда Осипа Петровича у калитки, может всё по-другому получилось бы. Ушёл бы я отсюда, и не было бы у меня такого защитника. Два раза Осип Петрович выручал меня из беды. Я его любил. А особенно привязался к нему, когда он помог мне в третий раз... Но об этом случае я после расскажу.

Осип Петрович был директором детдома, и я остался у него. Через полчаса мы с беленькой девочкой Зорькой сидели на кухне. На подоконнике стояли тарелка манной каши и винегрет. Рядом лежали Зорькины прыгалки. Зорька глядела, как я ем, и рассказывала, что она тоже ленинградская. Говорила, что в Коканд приехала две недели назад, что

в Ленинграде сейчас очень плохо. Немцы день и ночь бьют по городу из дальнбойных пушек. Из-за Гитлера там есть стало нечего. В их доме два мальчика умерли от голода. Мама её тоже умерла.

Зорька задумалась, замолчала. А потом стала рассказывать, как трудно теперь выехать из Ленинграда. Немцы все дороги захватили. Оттуда можно только пешком уйти. Зорькин папа тоже военный — он майор Красной Армии и сам поехать с Зорькой не мог. Он довёз её на салазках до сборного пункта у заставы. Там Зорьку с другими ребятами посадили на грузовик. Ехали по «ледовой дороге» через Ладожское озеро. За Ладогой пересадили ребят в эшелон и сюда привезли. Только не все ленинградские в этот детдом попали.

Я поглядел в окно. На дворе сидела на скамейке девочка-узбечка. Перед ней стоял маленький мальчик в матроске. Он держал раскрытую книгу. Узбечка что-то объясняла ему.

Зорька так быстро болтала, что я не всё запомнил, что она говорила.

— Это Гоша Остров, — показала она на мальчика с книгой. — Он со мной из Ленинграда приехал. Он тут самый маленький. Ещё семи лет нет. Его хотели в дошкольный детдом перевести, а он не хотел со мной расставаться. Ну, его и оставил Осип Петрович, он добрый... А это моя подруга Иргашой, в тубетейке. Она Гошу азбуке учит.

Я спросил:

— А кто она такая, Иргашой?

— Узбечка. У неё даже дом есть, за нашим забором. Маленький такой. Только у неё мама и отец умерли и она давно в детдоме живёт. Знаешь, одна Иргашой и ещё десять ребят — здешние, кокандские. Другие у нас все эвакуированные.

Мне стало неловко. А я-то решил, что всех несчастнее!.. Оказалось, все тут горе видели.

— А Славка? — заинтересовался я.

— И Славка, — ответила Зорька. — Он тебя до-

веском просто так назвал, из озорства. Он тоже эвакуированный. Только неблагодарный и распушенный. Он наш авторитет подрывает! Так тётя Оля говорит. Для эвакуированных горсовет лучший детдом отдал, а он уже два раза убежал. В Фергане был, в городе Ош. Он даже пальто детдомовское потерял. Разве это хорошо? Теперь всё для фронта надо беречь. А он небережливый. Всё на нём горит...

Тут Зорька примолкла и нагнулась ко мне.

— Ой! — сказала она шёпотом. — Что это у тебя? Красивое такое!

Она вытащила из кармана моей рубашки мамину расчёску и стала любоваться ею. Расчёской я не причёсывался, в больнице меня обрили наголо, и тут все мальчишки бритые. А всё же отдавать её мне было жалко. Мамина память. Но Зорька так восхищалась, так расхваливала гребёнку, что я сказал:

— Ладно. Дарю её тебе!

Зорька запрыгала, как мячик.

— Юлька! — сказала она. — Ты добрый. Я с тобой дружить буду. Честное пионерское. Я про тебя папе напишу. Велю ему в штаб сходить, в ленинградский, и узнать, где твоя мама. Вот!

— Правда, напишешь? — обрадовался я. — Когда?

— Сегодня! — обещала Зорька.

Где-то недалеко заиграла труба. Она словно пела в нос громким и толстым голосом. Потом забил барабан.

— Слышишь? — спросила Зорька.

Она выбежала из кухни. Я тоже вышел во двор.

Калитка детдома была распахнута. Ребята парами выходили на улицу, а девушка в белом халате, воспитательница, останавливала каждого, ставила отметку в большом журнале, который был у неё в руках, и выпускала в калитку.

Труба всё пела. Барабан бил. Что случилось? Ко мне подбежала взволнованная Зорька.

— Узбекский праздник начался! — крикнула она. — Видишь, ребята с Садыковым в городской парк уходят. Представление смотреть. Воспитательница их записывает. У нас без записи нельзя. Понял? А я не пойду. Меня с Гошей Иргашой к себе пригласила. В свой узбекский дом. Пойдём с нами?

— А Иргашой позовёт?

Зорька побежала к Иргашой. Иргашой поглядела на меня, кивнула головой и улыбнулась.

НАДО ОСМОТРЕТЬСЯ

Я совсем забыл, что час назад впервые вошёл в этот двор. Мне казалось, что я тут давно живу, давно знаю Зорьку... Да еще, как, бывало, в Ленинграде, отправляюсь сейчас в гости.

Домик Иргашой стоял за нашим забором, около кухни. Иргашой с Зорькой побежали туда. У забора стояла повозка на двух высоких, чуть ли не в рост человека, деревянных колёсах. Это была арба — узбекская телега. Девочки по колесу, как по лестнице, влезли на арбу, а нам с Гошей велели подождать, пока они приготовят угощение. С арбы девочки влезли на забор и прыгнули во двор к Иргашой.

Мы с Гошей сели на скамейку под деревьями.

— Ты сиди, а я осмотрюсь! Крикнешь мне, когда Зорька нас позовёт? — сказал я Гоше.

— Крикну, крикну! — согласился Гоша — он был покладистый мальчик.

Он взялся строить сооружение из камней, вроде дзота, а я отправился осматривать детдомовский двор. Во дворе, кроме четырёх флигелей, стоял ещё большой дом с высоким крыльцом. Окнами он выходил во двор. Я заглянул в окна. Там стояли парты. Это были классы. Ну, а другие дома?

За стеклянной террасой, где мы обедали, помещался клуб. Он был пустой. Я забрался по лесенке на сцену, обошёл вокруг рояля и увидал на стене

громадную географическую карту. Я догадался, почему её здесь повесили. Наверное, в клубе Садыков проводил сборы. Красными флажками через города и реки шла линия фронта. Я стал рассматривать её. Дошёл до Ленинграда. Как же тесно окружили враги мой город!.. Потом я стал разыскивать города, мимо которых проезжал. От Ленинграда поехал я вниз, к югу, через Горький. Поплыл мой палец по Волге... Вот обогнул я Аральское море, перевалив Мугоджары. И остановился почти у самой границы Ирана. Ну и путешествие я совершил! Самому глядеть удивительно.

За стеной стучали, пила визжала. Я спрыгнул со сцены, отправился в соседнее помещение и попал в столярную мастерскую. Около длинного стола с деревянными чурбаками и рубанком стоял мальчик в военном френче, в пилотке. Лицо его показалось мне знакомым. Но я не мог вспомнить, где я видел его.

— Здорово! — сказал я.

Мальчик кивнул головой. В мастерской около стен стояли деревянные козлы с тисками на одном конце. Мальчик уселся на козлы верхом, как на коня, и начал укреплять в тисках чурбак.

— Зачем тебе козлы? Что ты делаешь?

— Это станки столярные, — ответил мальчик. — На них лучше сидя работать. А чурбак — заготовка. Из неё что хочешь получается.

Он показал на полки, где лежали ложки, шкатулки, скалки, деревянная ступа с пестиком.

— Мы всё сами сделали. Для нашего детдома.

Я подошёл ближе и заметил, что у мальчика вместо кисти — култышка.

— Эй! — закричал я. — Да ведь это ты, Партизан! Не помнишь разве, в больнице через окно переговаривались!

— Ну да, это я! — обрадовался мальчик. — Как же я тебя сразу не узнал!

Он тут же изобразил страшную рожу, за которую нас особенно ругала Галя. Мы глядели друг на друга

и смеялись. В больничном саду, в халате Партизан мне казался выше и старше.

— А ты правда партизан? — спросил я.

— Ага! — ответил он.

Оказалось, что Ваня Маслов — так звали мальчика — полгода прожил с отцом, председателем колхоза, с матерью и старшим братом в лесах, там, где орудовали наши украинские партизаны. Однажды во время налёта фашистских истребителей Ваню ранило. Партизаны переправили Ваню через линию фронта. А сюда его привезли в санитарном поезде. Сперва он в больницу попал, а оттуда его, как и меня, в детдом определили.

Я расспрашивал его про здешние порядки, про ребят.

— Тебе тут нравится? Осип Петрович добрый? Верно, очень добрый? А вот Садыков, вожатый, кажется, злой!

— Садыков? Он не злой, — ответил рассудительно Партизан. — Он просто немного горячий. Ты его не бойся. Садыков сам детдомовский и поэтому боевой. Он здешний, в кишлаке родился, но родителей своих не помнит. Они давно умерли. Садыков ничего. Его сам Осип Петрович уважает. Он очень дельный. В кино нас по воскресеньям водит. Книги в библиотеке выдаёт. Он даже на рояле играть умеет — хоровой кружок ведёт... Он хочет, чтобы нам жилось хорошо. Только он ещё молодой, ему с нами трудно. Один Славка с ума сведёт!

Я согласился с Ваней, что нелегко Садыкову.

В это время во дворе раздался жалобный крик: «И-а! И-а!» — кричал осёл. Ваня соскочил с козел, бросил чурбак.

— Пойдём, — предложил он. — Я тебе детдомовских осликов покажу.

Из мастерской дверь выходила прямо в сад. За изгородью ходили четыре серых ослика. Один, самый маленький, увидел Партизана и опять закричал: «И-а! И-а!» — и побежал к изгороди.

— Это мой, — сказал Ваня. — Видишь, знает меня. И слушается. Я его Фокой зову. Хочешь покататься на нём?

Мы вывели Фоку во двор, но тут над забором показалась светлая пушистая Зорькина голова.

— Юлька! Гоша! — крикнула она. — Идите!

Я заторопился.

— Идём со мной в гости к Иргашой! — предложил я Партизану. — Я попрошу, чтоб тебя тоже позвали.

Но Ваня отказался:

— Я в городской парк иду, представление смотреть. Там тоже угощение будет. Я только старших ребят дожидаюсь. Они ещё из школы не вернулись. Пока!

Партизан помог мне посадить Гошу на арбу. Я махнул рукой Партизану на прощание, спустил с забора Гошу и спрыгнул за ним.

Вот ещё удача — Партизана встретил! В случае чего, если Славка приставать будет, мы с Ваней покажем ему, где раки зимуют!

В ГОСТЯХ

Дворик и домик Иргашой были такие маленькие, будто игрушечные. Они были глиняные — жёлто-серые. Дворик был чисто выметен, как пол в комнате. Жёлтая соломенная циновка с красной каймой лежала у порога. А на циновке, сложив ноги калачиком, сидела узбечка в полосатом платье. Лицо у неё было старое, морщинистое, но очень ласковое. Две чёрные косы висели за спиной. На груди было ожерелье из крупных пёстрых камешков. Узбечка месила тесто на широком плоском блюде. Она глядела на меня и улыбалась.

— Здравствуйте! — сказал я.

Узбечка кивнула мне головой.

— Ой-эй Ленинград! — сказала она гортанным

голосом. — Ой-эй! Плохой тебе, плохой... Коканд — якши, хорошо будет.

Откуда она знает про меня? Девочки рассказали?

— Это кто такая? — шёпотом спросил я Зорьку.

— Ульмасай-апа! — ответила Иргашой. — Моей мамы подруга. Ульмасай — это имя, «апа» значит «тётя» — по-вашему. Она добрая, нам на праздник муку дала, рис и, видишь, узбекское угощение готовит. Ульмасай-апа сейчас живёт одна, у неё два сына на фронте. Ты её не бойся, мы всё про тебя ей рассказали. Она эвакуированных жалеет, только плохо по-русски говорит.

— Ой-эй, — сказала Ульмасай-апа. — Ничего! Якши, хорошо будет.

Иргашой помогала Ульмасай-апа раскатывать лепёшки, а я пошёл к Зорьке, которая сидела на корточках перед громадным глиняным горшком, похожим на яйцо, и раздувала под ним угли. По углям бегали оранжевые огоньки.

— Что это такое? — удивился я. — Неужели это печка? Смешная какая! Не то квашня, не то горшок.

— Совсем не квашня! — даже рассердилась Зорька. — Конечно, печка. Только не русская, а узбекская. Она каменным углём топится. В Узбекистане ведь нет лесов, тут печи углём топят.

Рядом с печкой стояла на двух камнях большая сковородка, чёрная, с высокими краями. Зорька сказала, что эта сковорода — казан. Казан был прикрыт серебристым блюдом. Из-под блюда шёл вкусный пар, и под казаном тоже краснели угли.

— Тут плов варится! — весело объяснила Зорька. — Угощение будет замечательное. А в этой печке Ульмасай-апа лепёшки печь будет. Тоже по-здешнему. Я сама ещё не знаю, как это делается.

Дверь в дом была открыта. Я заглянул туда. В маленькой комнате с глиняным полом и стенами было крохотное, как форточка, оконце. Там не было ни стола, ни стульев. Одна большая деревянная кровать, покрытая кошмой, стояла у стены.

— Юлька! — крикнула Зорька. — Иди скорее! Ульмасай-апа лепёшки сажает.

Старуха стояла около печки и щёлкала по глиняным стенкам печки пальцем — наверное, пробовала, горяча ли. Глиняный горшок звенел, как стеклянный. Рядом стояла Иргашой и держала блюдо с лепёшками. Ульмасай-апа сняла крышку с печки и очень ловко и быстро прилепила все блины к стенкам. И снова закрыла её крышкой.

— Чудо-печка! — радовалась Зорька. — Ни сковороды, ни противня не надо. Поняли?

Из чудо-печки сразу запахло печёным тестом. У меня слюнки потекли.

Пока пеклись лепёшки, я по лестнице, приставленной к дому, забрался на плоскую крышу. И, хоть домик был маленький, с его крыши, как с колокольни, город был далеко виден.

Кругом были узкие, кривые переулки и такие же чистые маленькие дворики и плоские крыши. Всюду, будто свечки, поднимались голые пирамидальные тополя.

Вот и такие же печки во дворах — глиняные горшки. Над печками вились синие струйки дыма: наверное, везде плов готовили, лепёшки пекли.

Слева сквозь голые деревья видна была площадь. На ней собрался народ. В кругу стояли два старика. Один держал громадный барабан, другой — трубу из красной меди. Труба была в два раза больше старика. Наверное, она была тяжёлая, но старик поднял её прямо вверх, будто трубил в небо.

Труба пела одну и ту же короткую песню. Она была совсем не похожа на наши, и я не мог её запомнить. Из толпы вышли две девушки в широких белых платьях до самых пяток. Стали друг перед другом, опустили головы и закружились. Труба запела ещё громче.

— Готово! — кричала внизу Зорька. — Юлька, слезай. Готово!

Когда я слез вниз, кровать с кошмой уже стояла



— Что это такое? — удивился я. — Неужели это печка?

во дворе. На кровати, поджав ноги, сидели Зорька и Гоша.

— А где же Ульмасай-апа? — спросил я.

— Ушла, — ответила Зорька. — У неё свои гости будут. А ты к нам залезай. Что ты удивляешься? Думаешь, это кровать? Это стол узбекский. Стульев тут не полагается, надо обязательно сидеть вот так, на корточках.

Посреди кровати на серебристом блюде лежали четыре лепёшки — пышные, румяные и такие горячие, что я обжёг себе пальцы, когда Зорька дала мне одну лепёшку.

Иргашой разложила в пиалы плов, влезла к нам, и мы начали пировать.

Давно я не ел так вкусно!

Плов был розовый, рисинки так и рассыпались в нём. Он был сладкий от кусочков моркови и острый от лука и красного перца. А лепёшки так и хрустели на зубах.

— Вкусно? — всё время спрашивала Зорька. — Верно, очень вкусно? Узбеки любят угощать, они очень гостеприимные. Поэтому к ним столько эвакуированных приехало. Отовсюду! Из Белоруссии, с Украины, из Литвы, из Латвии... И они всех приняли, никому не отказали. Сейчас тут эвакуированных даже больше, чем узбеков... Правда, сам Осип Петрович нам говорил! А зато, когда война кончится, мы к себе узбеков будем звать в гости. А ты, Иргашой, будешь самый знаменитый гость!

— Приедешь ко мне, Иргашой? — спросил Гоша.

— Нет, она ко мне приедет! — твердила Зорька. — А к вам только приходиться будет. Жить она будет у меня!

— Ладно! — согласилась Иргашой. — Я ко всем приезжать буду.

И велела нам брать плов вместо ложек кусочками лепёшек, как лопаточками. Она, видно, была девочка очень серьёзная и не любила много говорить.

Я ел, а сам любовался чистым двориком, красной циновкой у порога, глиняной печкой, похожей на яйцо.

— Ни за что бы из такого дома не ушёл! — сказал я.

И стал расспрашивать Иргашой, давно ли Коканд построили, почему тут глиняные дома и заборы и такие маленькие окошки. Иргашой сказала, что Коканд очень древний город и прежде был столицей узбекского ханства. Тут много старых мечетей и дворцов. Окошки тут маленькие для того, чтобы в доме летом было прохладно, а дома строят глиняные и невысокие, потому что тут бывают землетрясения.

— Настоящие? — спросил я.

— Да нет! — вмешалась Зорька. — Просто земля под ногами, как лодка, покачается, и всё! Я знаю. При мне одно землетрясение было.

Громко застучали в деревянную калитку.

— Отворите! — крикнул знакомый голос. — Откройте! Мальчик эвакуированный, Юля Семёнов, тут?

«Кто меня зовёт? Зачем?» — всполошился я. Спрыгнул с кровати, отодвинул засов у калитки, она распахнулась сама.

— Галя пришла! — закричал я и бросился к ней на шею.

— Мне в детдоме сказали, что ты в гостях! — засмеялась Галя. — Я о тебе беспокоилась. Не вытерпела даже, прибежала. Ну как, ребята не обижают?

— Это меня-то? — сказал я. — А как хорошо, что ты пришла! Я тут знаешь кого нашёл? Военного! Помнишь, я про него в больнице рассказывал. Которого на базаре встретил. Это директор нашего детдома. И Партизан тут. Его Ваней зовут. Масловым.

— Счастливый ты, Юлька! — обрадовалась Галя. — Я говорила — всё будет хорошо.

Галя была нарядная, в белой кофточке, вышитой крестиками, совсем панночка из «Майской ночи»!

Вель я всегда её видел только в больничном белом халате.

— Я и журналы тебе принесла. Это доктор наш вспомнил про них. И велел тебе отдать. Он тебе привет шлёт!

Она подала мне альбомы с вырезками, журналы «Вокруг света». И газетный свёрток, в котором была завернута моя любимая пареная айва.

Я познакомил Галю с девочками и с Гошей. Мы показали ей дом, кровать, печку. Гале тоже очень нравилось у Иргашой. Потом мы уселись все вместе на кровать, разделили айву, и я стал показывать девочкам мои вырезки из газет.

Иргашой меня похвалила:

— Ты, Юлька, развитой. Покажи свои альбомы Садыкову. Он давно хотел делать такие. Он тебя похвалит.

Я стал показывать свои журналы. Зорька удивлялась, что я хорошо знаю географию, а я видел, что Иргашой помнит разные острова и государства лучше меня. Она перевертывала страницы и преспокойно говорила:

— Канарские острова! У берегов Северной Африки. Гонолулу. Тут Амалия Ирхард, знаменитая лётчица, утонула. Сан-Марино. Самое маленькое государство... Непал...

— Какая же девочка умная! — хвалила её Галя.

Когда попадались картинки с осьминогами, питоном и уродливыми людьми, Гоша старался поскорее перевернуть страницу. Но Зорьке страшные картины больше всего нравились. Она закрывала Гоше ладошкой глаза, а сама любовалась огромным питоном. Сидели мы недолго — раздался звонок. Надо было возвращаться в детдом.

На прощание я попросил Галю:

— Навещай меня почаще. Приходи каждую неделю.

И она обещала не забывать меня.

В ту ночь я лежал в большой спальне, уставлен-

ной кроватями, под большим стёганым одеялом, у окна. Ваня попросил Садыкова дать нам кровати рядом. Но Ваня уже спал. И другие ребята спали. Гоша говорил во сне. А мне не спалось. Большая луна стояла низко над двором, и мне казалось, что её можно было достать с неба рукой. Я глядел на луну, думал про Ленинград, вспоминал маму, рассказывал ей про детдом. И незаметно уснул.

Часть пятая
«ОТ СОВЕТСКОГО
ИНФОРМБЮРО»



Через месяц я освоился с новой жизнью. В детдоме мне нравилось, и я уже привык, что всё тут делалось по звонку.

Электрические звонки были не только в классах, в спальне, но даже во дворе. В семь часов раздавался первый звонок, и он будил весь детдом.

— Подъём! — кричали ребята.

Мы убирали спальни, умывались и шли в столовую. После завтрака — в клуб. Там, на сборе, нам читали известия с фронта, а перед сбором Садыков всегда перекалывал на карте ленточку с красными флажками. Я старался поскорее кончить завтрак, чтобы успеть до сбора помочь Садыкову у карты. Теперь я несколько не боялся его. Садыков был строгий и вспыльчивый, но зато очень весёлый и справедливый. Он целый день проводил в детдоме, даже спал в спальне у старших мальчиков. Он никогда не отказывался переменить книгу, выдать футбольный мяч или объяснить военную новость.

Особенно мы сдружились, когда Садыков убе-

дился, что я хорошо разбираюсь в разных фронтовых делах.

После завтрака и сбора полчаса, до начала уроков, у нас были свободные. В это время в Коканде передавали из Москвы последние известия. Газеты приходили сюда лишь на пятый день. А тогда никто не мог дожидаться утра, когда из Москвы диктор Левитан своим густым, ясным голосом начинал читать сводку с фронта. Она называлась: «От Советского Информбюро».

— Слушали «От Советского Информбюро»? — спрашивали мы друг друга. — Что передавали? Какой сегодня город взяли?

И вот я упросил Садыкова отпустить меня на площадь. Там стоял громкоговоритель, и народ собирался к нему по утрам слушать Москву. Осип Петрович не сразу согласился. Когда же Садыков поручился за меня, дал слово, что я не буду опаздывать на уроки, уступил. Я каждый день бегал на площадь, слушал радио, записывал города, где шли бои, приносил свою сводку Садыкову. Я, конечно, гордился тем, что раньше всех в детдоме узнаю военные новости. И правда никогда не опаздывал.

Иногда Садыков сам торопил меня.

— Шпарь, Юлька, — говорил он. — Как там дела под Керчью? Только скоро. Есть?

— Есть! — отвечал я.

Чтобы сократить путь, я всегда перелезал через забор, бежал двориком Ульмасай-апа, соседки Иргашой. Она обычно сидела на пороге дома и вышивала тюбетейки. Я кричал ей: «Якши месис!» — доброго здоровья! Она кивала головой, улыбалась мне.

На площади стоял столб с огромным красным рупором наверху.

Я садился на бетонный мостик, под которым журчала вода, и вместе с другими ждал, когда начнётся передача.

Когда включали Москву, вся площадь бывала полна народу. Все сразу переставали говорить, лишь

только в рупоре начинал стучать маятник больших часов. Потом нежные серебряные молоточки отбивали часы, и густой голос диктора говорил на всю площадь:

— Внимание. Говорит Москва. Московское время шесть часов. Начинаем утреннюю передачу последних известий.

Музыка играла боевой марш. И тот же голос отчётливо начинал:

— От Советского Информбюро...

Однажды — это случилось ещё в те дни, когда немцы были близко от Москвы, — настало время передачи, а из рупора неслись одни хрипы и взвизгивания. Я с тревогой глядел на громкоговоритель. Мне стало страшно. Казалось, я слышу, как летает по московским улицам снежный, ледяной ветер. В Москве была ещё ночь. Там ещё не рассвело. Почему радио молчит? Может, над Москвой идёт воздушный бой? Все в бомбоубежищах... А на крышах — зенитчики, на чердаках — посты противопожарные. Небо изрезано лучами прожекторов, и в этой сетке мечутся фашистские самолёты. «Юнкерсы», «Мессершмитты»... Я ждал — вот раздастся грохот, разорвётся фугаска...

Но вместо грохота из рупора послышалось:

— Говорит Ленинград...

Голос был такой далёкий и приглушённый, точно он прилетел с поля боя, вырвался из засады. Потом в рупоре загрохотало, завизжало.

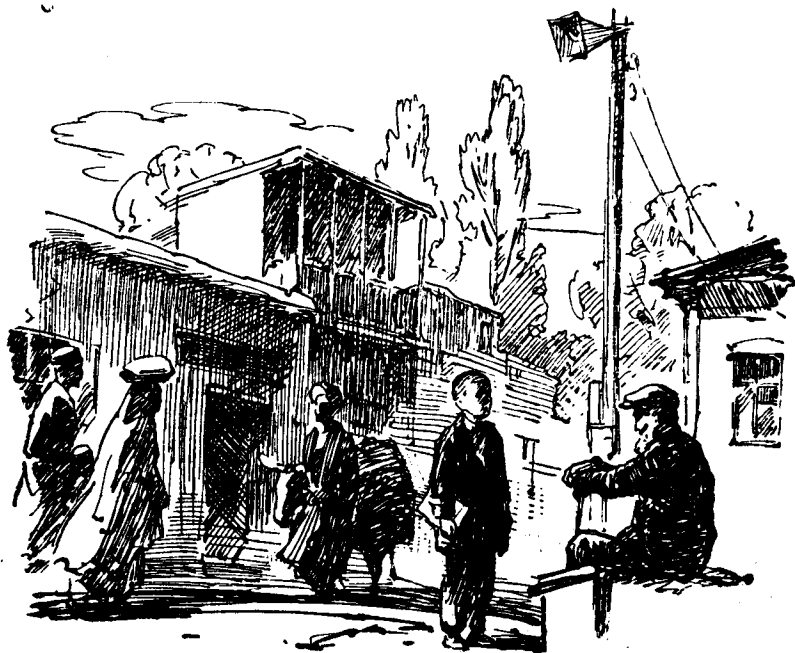
Рядом со мной на мостике сидел бородатый старик с палкой.

— Ленинград! — сказал я ему. — Слышали? Ленинград.

В рупоре слышались вой и визг. Старик ударил палкой по земле и крикнул:

— Ленинград, родина моя! Гитлер ему мешает. Гитлер говорить не даёт!

Я вскочил и сжал кулаки. Фашисты нарочно пускали радиоволны, чтобы наш Ленинград не мог подать



голос из блокады. Мне хотелось залезть в горло рупора и рубить немецкие радиоволны, как ядовитых змей. Но из рупора опять вырвались суровые приглушённые слова:

— Мужество... всё население... баррикады... самоотверженно... Город-герой...

У меня в горле застрял ком. Но визг и приглушённый голос — всё стихло. Настала тишина. В тихом рупоре серебряные молоточки отбили часы. Грянул, как всегда, боевой марш, и голос Левитана сказал:

— От Советского... Информ... бюро...

Я рассеянно вынул карандаш и бумагу. Мне казалось, я на крыльях огромной птицы слетал в Ленинград и только что вернулся оттуда. Диктор кончил сводку. Народ понемногу расходился с площади. Мы со стариком всё стояли у столба с рупором. Тут тишина, журчат арыки. Синее небо над головой. На улицах в плоских корзинах, как на блюдах, уже про-

дают букетики крупных фиалок. А в Ленинграде воздушные тревоги... Город-герой удерживает врага.

— Ты, внучек, тоже наш, ленинградский? — спросил старик.

— Ленинградский.

— Ну, значит, земляки. Письма оттуда получаешь?

Я отрицательно покачал головой.

— И мне не пишут, — сказал старик. — У меня там три сына. Защита наша. Три лейтенанта. А живы ли? Хочу опять в военкомат зайти. Справиться.

Я пошёл со стариком по площади в ту сторону, где виднелось здание военкомата. Я уже был там два раза, с тех пор как в детдоме поселился. Через военкомат я послал снова запрос в штаб Красной Армии о маме. Но ответа ещё не получил. Может, сейчас зайти? Посмотрел на городские часы у дома горсовета и увидел, что уже без двух минут девять.

Уроки сейчас начнутся.

— Прощайте! — крикнул я старику. — В школу опаздываю!

Старик что-то кричал мне вслед, но я не оглядывался, бежал к детдому. Из дворика Ульмасай-апа я услышал, как трезвонит звонок на уроки.

Только бы с Садыковым и Осипом Петровичем не встретиться!

Я вбежал в пустой клуб. Шкаф, где лежали наши сумки с учебниками, был заперт. Придётся без книг на уроки идти!

Старшие ребята у нас занимались в соседнем переулке, где была десятилетка, а младшие учились в детдоме, в самом большом каменном здании. Я влетел на крыльцо, вошёл в коридор и на цыпочках подошёл к двери класса. Постоял немного, послушал.

Открыл дверь — и что же я вижу! Нашей учительницы Веры Михайловны в классе нет, а у доски стоит Иргашой. И объясняет задачу.

Я сразу всё понял. В другом классе заболела учительница Ольга Борисовна. Она часто болела. И на-

ша Вера Михайловна ушла в её класс, а вместо себя оставила Иргашой. Когда мне Зорька раньше рассказывала, что Иргашой учит нас, я не верил. И вот вижу — правда!

Я тихонько уселся рядом с Партизаном, а Иргашой строго поглядела на меня:

— Почему опоздал?

— Попадёт! — хихикнул Славка; он был из тех, кто радуется чужой беде.

— Не говори Вере Михайловне, — вступился Партизан.

— Прости его! — умильным голосом сказала Зорька.

— Тихо! — прикрикнула Иргашой.

Но тут вошла сама Вера Михайловна.

— Что это у вас? — спросила она подозрительно.

— У нас ничего! — ответила Иргашой и не спеша села с Зорькой. — У нас всё в порядке.

После урока я сам рассказал Иргашой, почему опоздал.

— Ладно, в первый раз прощается! — миролюбиво сказала Иргашой.

— А я и так знала, что она не скажет! — радовалась за свою подругу Зорька.

И мне нравилась Иргашой, хотя она была некрасивая девочка и мальчишки дразнили её за то, что после какой-то болезни она ходила стриженная. И походка у неё была смешная, утиная — вперевалку. Но мне она нравилась, потому что была умная и справедливая и не мелочная. Вообще очень хорошая девчонка.

Да, признаться, когда я пригляделся к детдомовцам, я стал считать, что они лучше домашних ребят. Они были терпеливые и редко жаловались, ныли.

— Привыкли быть себе хозяевами, — объяснил мне Садыков. — У них сама жизнь выработала чувство ответственности.

Мне тоже хотелось выработать у себя такое чувство.

«МЕНЯЛЫ»

Когда я теперь думаю про свою жизнь в Коканде, всё кажется мне хорошим. Я с удовольствием вспоминаю даже обиды и невзгоды. А сколько у нас было трудного! Иногда нам не хватало досыта еды, не хватало нам и белья и ботинок. Вся резина шла для танков и автомашин, а мы ходили в старых калошах и женских ботинках. И, как ни старался наш детдомовский сапожник «заливать» их, они всё время протекали.

— На вас всё горит! — сердился старенький худой сапожник Калнин, родом из города Риги. — Вы не цените чужого труда. У вас железная подметка и та потечёт!

Сапожник сидел на раскладном стуле с грудой калош, ботинок и ботинок у высокого крыльца, где была бельевая, и целый день стучал молотком. Он придирался к нам. Издали кричал: «Зачем ногами шаркаешь?», «Зачем обутым в футбол гоняешь?» Он жаловался на нас Осипу Петровичу и Садыкову. Мы его не любили, хотя Садыков объяснял нам:

— Товарищ Калнин тоже не виноват! Целый день делает вам калоши из воздуха... Из уважения к старому человеку хотя бы молчите! А ходите вы, я тоже считаю, не по-человечески!

Были у нас и другие невзгоды. Многие ребята не могли привыкнуть к тому, что нам выдавали по два кусочка сахара на день. А другим не хватало хлеба. Продукты тогда раздавали везде по карточкам.

Кто жил в детдоме до войны, рассказывал, какие сдобные пироги с курагой пекла повариха тётя Феня. Как после обеда оставались нетронутые мягкие, пышные буханки хлеба и ребята отказывались от супа. Теперь мы всё съедали дочиста и даже вылизывали ложки, всё казалось нам очень вкусным! Особенно трудно было в первую зиму, когда фашисты заняли Украину, Белоруссию и не дали собрать урожая. У нас был свой огород, но всё же овощей

не хватало: столько ребят съехалось в детдом. И мы задолго до обеда хотели есть, а в спальне постоянно кто-нибудь начинал разговор про вкусную еду.

— Моя мама, — рассказывал Партизан, — умеет делать вареники — оближётесь! С творогом и с вишнями. А с картошкой и луком такие вкуснющие, что один командированный москвич упрашивал каждый день кормить его такими!

У нас слюнки текли от этих разговоров. А Партизан, войдя во вкус, описывал, как его мама маринует вишни и сливы и варит жирные куриные супы. Тогда Славка, особенный любитель поесть, заявлял:

— Вы, ребята, как хотите, а я после детдома пойду в повара. Есть буду целый день. И на ночь под подушку класть кусок жирного окорока. Вот будет жизнь!

Осип Петрович знал, что нам приходится трудно. Он часто говорил:

— Ребята, всегда помните, что в первую очередь страна всё даёт вам, детям. Детям и фронту. Но всего у нас в обрез. Настанет время, и опять будет изобилие. А пока давайте будем терпеливые, честные и бережливые.

Каждый из нас поочерёдно бывал хлеборезом, делил сахар. И считалось большим позором, если хлеборез не выдержит и отрежет от чужого пайка ломтик или отгрызёт от кусочка сахара.

Так случалось со Славкой. Когда он бывал дежурным и носил больным ребятам в спальни хлеб и сахар, он незаметно откусывал кусочек сахара и отламывал корочку хлеба. Это было нечестно — всем тогда хотелось есть! И притом ещё дежурным полагались хлебные крошки и сахарная пыль из пакета.

Я помню, как было трудно мне.

В Ленинграде до войны я был страшный сластёна. Иногда я менял у Партизана свой хлеб на кусочек сахара. Партизан не любил сладкого и с удовольствием уступал его мне.

Раз Садыков это заметил и запретил меняться.

— А почему нельзя? Мы же честно!

— Доктора говорят, что у человека должно быть всё — и хлеб и сахар. А если ты потакаешь своему вкусу, ты обижаешь организм и можешь заболеть.

Садыков нас не убедил. Мы решили, что ему только семнадцать лет, он не врач. Но Славка всё равно от нас не отставал. Однажды, заметив, что я не съел свою горбушку, он после обеда стал ходить за нами по пятам. И так надоел, что Партизан сказал:

— Уйди, шпион!

— А вы — менялы...

И с тех пор к месту и не к месту стал дразнить нас «менялами». Это обижало нас, нам стало ещё трудней меняться, хотя мне ужасно хотелось сладкого, а Партизан был не прочь съесть лишний кусок хлеба.

Всё это я вспомнил потому, что Славкин характер мог взбесить человека. И, если вовремя не удержаться, наделаешь много глупостей. Так и случилось со мной.

САНОБРАБОТКА

В тот день привели новенького.

Когда утром я вышел во двор, под деревьями на скамейке я увидел мальчика в тёмно-красной девчачьей кофте, рыженького и на вид очень смиренного. Обычно новенькие всегда садились на скамейку под деревьями. Наверное, потому, что тут человека меньше было видно. Мы привыкли к этому. Но, когда я увидел рыжего мальчишку на скамейке, мне стало жалко его — я вспомнил свой первый день в детдоме, подошёл к нему:

— Здорово! Откуда?

Мальчик ответил:

— Из Белоруссии...

— Долго ехал?

Подбежал Славка, и мальчик замялся.

— Я немного в Казани пожил. Потом в Свердловске... И в Актюбинске...

— Ага, беспризорничал! Из детдома убегал, — сразу догадался Славка. — Что ж, не нравится в детдоме?

— Не нравится... Воспитатели злые.

— А у нас, думаешь, добрые? — засмеялся Славка. — Злые как черти. А вожатый бешеный. Ко всем пристаёт. Честно тебе говорю.

Славка нарочно страшал новенького или в самом деле так думал, не знаю. А новенький с таким вниманием слушал его, что даже рот раскрыл.

— Юлька! Семёнов! — позвала меня тётя Оля.

— Ты его не слушай, — начал я, — он у нас врун страшный...

— Юлька! — опять позвала тётя Оля. — Кому говорят! У нас сегодня санобработка. Ты дежурный. Иди сюда.

Я побежал к тёте Оле. Новенького я сразу понял. Догадался, что он из породы чересчур чувствительных. Если попадёт такая девчонка в детдом, то она по всякому поводу целую неделю плачет, а девочки её утешают. Ну, а чересчур чувствительные мальчики в детдоме обычно не уживаются и бегут.

Во дворе стояли арбы. Партизан запрягал в них осликов, а ребята таскали из спален матрацы, одеяла и подушки и складывали их на арбы. Это был наш самый нелюбимый — санитарный день, когда мы отправлялись в баню и везли с собой постели и бельё в санобработку. Во время войны всегда начинаются всякие болезни, и, чтобы убить всех микробов, нашу одежду, матрацы и одеяла каждый месяц прогревали в бане едким горячим паром.

Сегодня и был назначен такой канительный, санитарный день.

Тётя Оля заворчала на меня, когда я вошёл в бельевую:

— Пожаловал, господин хороший! Почему сразу

не слушаешься? Обязательно нервы надо потрепать старому человеку?

Весело покосилась на меня и сказала:

— Получай обмундирование!

И подала мне новёхонький военный френч защитного цвета, военные бутсы и военную фуражку.

Я ахнул от неожиданности.

— Нравится? А пальто с девчачьими пуговицами тут оставишь. Помнишь, как надулся на меня за него?

Я был так доволен, что засмеялся от радости. Бутсы были жёлтые, блестящие. Таких ни у кого не было. Вот фуражка у Славки такая же, но мой козырёк лучше. Ну, а френч был настоящий фронтовой. Я нарядился и отправился к зеркалу. В бельевой висело большое зеркало.

— Ишь ты, франт, малиновый кант! Прямо к зеркалу! — засмеялась тётя Оля. — Ладно, носи на здоровье. Только, если пятнышко посадишь или клок вырвешь, несдобровать тебе. Всё отберу. Понял?

Я не слушал тётю Олю и вертелся перед зеркалом. Она стала торопить меня.

— Вот тебе узелок. Тут на всех по куску мыла. В санобработке отдай Садыкову. Только торопись, а то всю баню удержишь. Теперь снимай френч. В баню пойдёшь во всём старом.

Я бросил на сундук пальто с девчачьими пуговицами — прощай, любезное! — взял из рук тёти Оли синий узелок с кусочками мыла, прижал к груди новенькие бутсы, надел на голову фуражку.

И во френче, счастливый, выскочил во двор.

Тётя Оля кричала мне вслед свои нотации.

Ослики уже выезжали с матрацами и одеялами из ворот. На последней арбе, высоко на подушках, сидела, как белка в гнезде, Зорька.

— Юлька! — крикнула она. — Садись ко мне! Подвезу.

Но я мчался в спальню.

Спальня была пустая, и я решил примерить бут-

сы. Они пришлись в самую пору. Тогда я поправил на голове фуражку и зашагал в бусах по спальне.

«Чем не военный? — думал я. — Встретит кто-нибудь на улице, подумает: это с фронта приехал мальчик. Юный разведчик. Или партизан! Сын полка...

Я опять прошёлся по спальне из конца в конец. Здорово! Признаюсь, я всегда немного завидовал Ване, его пилотке, даже култышке в марлевой повязке. Я любил примерять его пилотку. Ведь сколько раз прохожие нас останавливали на улице и спрашивали у Партизана:

«Ты, сынок, военный?»

Один раз командир даже отдал ему честь.

Но особенно хорошо, что такой костюм я получил сегодня. Наши детдомовцы собирались нести подарки в подшефный госпиталь. В столярной мы наделали трубок, коробок, а девочки связали шерстяные носки и вышили кисеты. В госпиталь детдомовцы ходили каждый месяц, но я там ни разу не был.

Теперь заявлюсь в полной военной форме.

Я спрятал старую рубашку с молнией под подушку, засунул под кровать рыжие, с ободранными носами ботинки. «Не сниму френча. Пройдусь в нём по городу»...

Тут я вспомнил эту канительную санитарную обработку, схватил узелок с мылом и выскочил из спальни.

ЗЕЛЁНЫЙ ПЕТУШОК

Только я вышел из нашего узкого глиняного переулка в соседний, как оттуда потянуло таким душистым сильным запахом, будто весь переулок надушили духами — много флаконов пролили на землю, на заборы.

Это цвели сады. Они зацвели три дня назад. Наши ребята уже бегали смотреть на них и принесли

несколько веток с пушистыми розовыми цветами. Я с ними не ходил. И, когда завернул за угол, мне показалось, что я попал в волшебный сад.

Из-за серых глиняных заборов поднимались воздушные розовые облака цветов. На одних деревьях шапки из цветов были густо-розовые, на других чуть желтоватые. А там — почти белые. Это цвели персики, урюк, яблони, так буйно, как в сказочной цветочной стране. Красота какая! «Если бы мама увидела! — подумал я. — Поставить бы такой букет нам в Ленинграде на стол...» В это время по лицу меня ударила ветка и упала на землю. Я поднял её, обернулся и на заборе увидел Славку.

— Эй! — крикнул он. — Моя ветка!

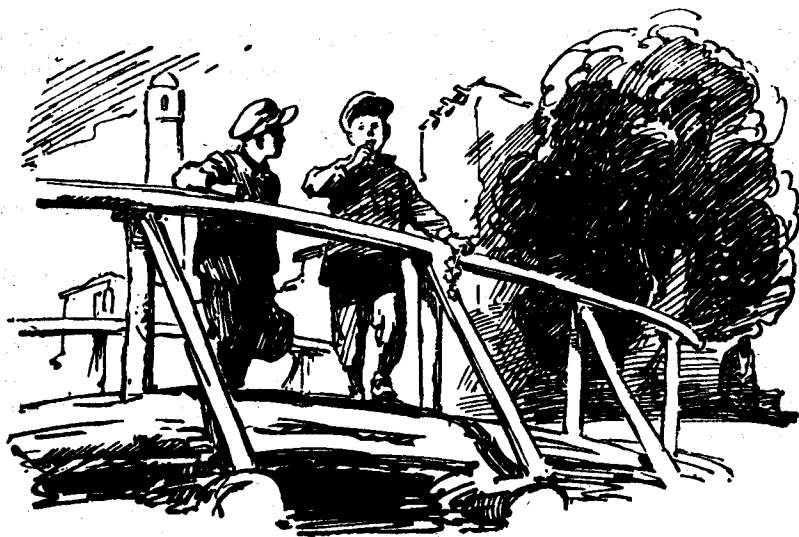
Я бросил ветку. Славка прыгнул вниз, поднял её, ударил себя веткой, как хлыстом, по ноге и пошёл впереди меня. Обгонять Славку мне не хотелось. Но он сам приостановился и сказал:

— Ишь, нарядился! А всё равно видно, что ты никто. Настоящие партизаны ходят рваные. А ты франт, с иголки.

Славка мог испортить настроение каждому в одну минуту. Я постарался поскорее запылить новенькие ботинки, а узелок с мылом прижал к груди, чтобы закрыть блестящие пуговицы френча. Неужели и другие скажут: франт? Мы свернули к пустырю. На пустыре росло дерево, круглое, как зелёный шар, с очень толстым коротким стволом и мелкими густыми листиками. Это был знаменитый кокандский карагач. Говорили, что ему чуть ли не тысяча лет.

— Гляди, леденцами торгуют! — сказал Славка. — Старик с лотком стоит. Помчались!

Я увидел за карагачом, у старой мечети, на табурете старого узбека, похожего на мальчика: борода и усы у него уже вылезли от старости. Перед ним на раскладной подставке стоял ящик со стеклянной крышечкой. В ящике лежали леденцы на деревянных ножках — зелёные петушки, зайцы, красные верблюды, рыбы. Старика и его ящик хорошо знали наши



ребята. Когда родные присылали деньги, детдомовцы сразу бежали сюда покупать сласти. И мне однажды Галя купила у старика жёлтого петуха на деревянной палочке, когда я провожал её из детдома.

Мы постояли немного около старика с ящиком. Но денег у меня не было, и я пошёл дальше. Оглянулся, смотрю — Славка вытащил из кармана жёлтую бумажку — рубль. Он лизнул его зачем-то и на этот лизанный рубль купил у старика леденец.

Мы дошли до моста. Под деревянным мостом с высокими перилами текла быстрая горная речка. Славка кинул за перила свою ветку. Горная река закружила, завертела её и потащила с собой. Славка опёрся о перила и начал, громко причмокивая, сосать леденец на деревянной палочке. «Жадный! — подумал я. — Хоть бы из вежливости кусочек отломил!» Отсюда, с моста, открывался вид на горы. Всю зиму они были дымкой задёрнуты, а сегодня впервые я увидел их.

Горы были серые, с лиловыми снежными ущелья-

ми. Я видел, как зелёные долины сбегали вниз. А ближе к городу жёлтая земля была покрыта, как розовыми облаками, цветущими садами.

— Эй, вы! — крикнул сзади сердитый голос. — Мальчишки!

К нам шёл старик и размахивал разорванным рублём.

— Зачем плохой рубль давал? — спросил он сердито.

Я взглянул на Славку. Славка быстро облизнул губы. Засмеялся. Показал на меня пальцем и помчался по мосту. Я было пустился следом, но старик схватил меня за руку.

— Пустите, это не я! Пустите! — просил я.

По мосту шли два бойца. Они остановились. Старик показал им Славкин рваный рубль. Я всё твердил:

— Пустите! Не я!

Бойцы, наверное, мне не поверили. Один схватил меня за руку. Второй стал щупать узелок и вытащил из него кусочек мыла. Когда старик увидел мыльце, он замахал рукой:

— Ладно, иди! Это детдом! Не надо! Иди, мальчишка!

Он пожалел меня, понял, что мыло не моё и мне попадёт, если я расплачусь им. Но бойцы были совсем молодые и строгие. Они подозрительно смотрели на мой френч, новые бутсы и стали допытываться:

— Откуда у тебя столько мыла? Куда идёшь?

— В санобработку, с детдомом!

Я стал вырывать у них из рук узелок. Он был связан неплотно. И пять маленьких кусочков — тётя Оля большое мыло делила на пять человек — вывалились. На деревянном мосту были щели и кусочки полетели в реку.

— Ой-эй! — сказал старик. — Мальчишка плохой будет. Маклашка детдом давать будет!

И он постучал кулаком по голове, показывая, что

сделают со мной в детдоме. Боец отпустил мою руку. Я не стал оправдываться и помчался к бане.

Только за мостом, где дорога расходилась на тропинки между заборами, я остановился, перевёл дух. «Ну и Славка! Не пройдёт тебе это. Не пройдёт!»

Я припустился к улице Мукими, где была наша баня, и решил всё рассказать Садыкову. Ябедой не был и не буду, а проучить Славку нужно. «Поделом вору и мука!» — кровожадно думал я, представляя, как влетит ему от Садыкова... Только всё обернулось по-другому.

БУТСЫ

Я издали увидел Садыкова: он стоял у ворот бани и махал мне рукой. Запыхавшись, я передал ему узелок с мылом. Лицо у Садыкова было сердитое.

— Почему опаздываешь? — сказал он резко. — Хоть на десять минут опоздать необходимо?

Потом оглядел меня и вовсе рассердился:

— Кто тебе позволил в новое нарядиться? У тебя совесть есть? Ты государственные средства жалеешь?

Садыков быстро шёл по двору. Я вприпрыжку бежал за ним. Прошли мимо каменного домика с распахнутыми железными воротами, из которых шёл едкий густой пар. Здесь и была санобработка для одеял, подушек и белья.

Самая баня была похожа на глиняный купол, вроде громадной юрты. На большой юрте лепились, как луковицы, купола поменьше, с трубами, окошками. Баня была очень древняя и ходили в неё старые узбеки, но нам она очень нравилась, и, наверное, нигде уже я не увижу такой необыкновенной бани. По крыше её сейчас ходил между куполами трубочист в чёрном фартуке, с метлой и металлическим шаром на канате. Этот трубочист всегда шутил с ребятами, зазывал к себе в помощники.

— Иди, товарищ, сюда! — крикнул он. — Пропадаю без твоих белых рук!

Мне было не до него.

Садыков с узелком прошёл в баню, а я остался в предбаннике, который был похож на фойе в кино. Вдоль стен располагались два больших возвышения с перильцами, застланные коврами. Тут, говорят, до войны узбеки отдыхали и пили зелёный чай после бани.

Раздеваться мне или сразу улизнуть? Я раньше так предполагал сделать: отдам Садыкову узелок, нажалуюсь на Славку и прямёхонько в городской парк. Покрасуюсь там в новеньких бутсах и френче. Но Садыков на меня зол, он заметит моё исчезновение. Может, аккуратно сложить френч, спрятать его и поплескаться для виду?..

Предбанник был пустой. На одной стене его висели огромные железные обручи, похожие на те, в которые цирковые наездники прыгают. В обручи были продеты наши трусы, рубашки. Они заменяли вешалки. На этих кольцах здешние санитары и уносили бельё в санобработку.

Я снял френч. Бельё продел в обруч. Вошёл санитар в белом фартуке, взял со стены кольцо, надел их, как бублики, на локоть. Увидал мой френч и живо подхватил его.

— Он новый! — взмолился я. — Отдайте!

Санитар целый день слышал такие фразы от взрослых приезжих людей, а что для него был я? Он, не глядя на меня, продел и френч в кольцо. Я кружился вокруг него и упрасивал:

— Отдайте, он новый... Мне попадёт за него!

Санитар отстранил меня, как неодушевлённый предмет, и ушёл, а я в мрачном настроении поплёлся мыться. Открыл дверь в самую баню-мыльню, как её тут звали, и увидел моего врага — Славку.

Славка, как король на троне, расположился на самой верхней ступеньке изразцовой печки, от которой шёл пар, и бил себя по голым плечам веником. Рядом с ним сидел с грустным видом новенький.

Славка тоже заметил меня и показал мне нос.

Чтобы хоть как-нибудь допечь его, я крикнул новенькому:

— Я тебе покажу, если будешь со Славкой водиться!

Новенький уныло взглянул на меня и ничего не ответил.

Внутри баня была тоже необыкновенная, с переходами, залами, нишами и окошками на потолке.

Я ушёл в соседнюю залу, с каменным углублением в полу, вроде бассейна. Обычно все ребята собирались тут. Удивительно, что сегодня бассейн был пустой. Я прыгнул в воду, лёг на спину, скрестил руки на груди. От сердца у меня отлегло. Обойдётся как-нибудь! У Садыкова я попрошу прощения. А с френчем ничего не будет. Разве тут вещи берут для того, чтобы портить?

Я долго плескался, плавал. И в хорошем настроении вышел в предбанник. Очевидно, ребята уже ушли.

На стене висели пустые кольца. Только моё бельё и оставалось. Я взял рубашку, трусы, а когда увидел френч, ахнул: он сморщился, посерел от пара, золотистые пуговицы стали ржавые, некрасивые.

Нагорит мне от тётки Оли!

Но худшее ждало меня впереди. Я застегнул френч на все пуговицы, разгладил локтем складки и морщинки и полез под скамейку за бутсами. Но бутсов не было... Я облазил всё, бутсов не нашёл и побежал к банщику — инвалиду с костылём вместо ноги.

— Кроме ваших, тут никого не было. Значит, ваши взяли. А ты что делал? Уснул? Садыков с ребятами давно ушёл...

Я так жалобно упрасивал банщика помочь мне, что он сжалился. Мы вместе стали шарить под диванами.

Бутсы как сквозь землю провалились.

— Плохо дело! — сказал наконец банщик. — Стянули их. А отвечать нам с тобой придётся.

Я вышел из бани босиком. Идти было не холодно, земля уже порядком нагрелась. Босой, в мятом френче, я больше смахивал на партизана. Но сейчас это меня не радовало.

РАСПЛАТА

В детдом возвращаться мне не хотелось. Я дошёл до моста через речку, походил по берегу. Постоял у карагача. Медленно прошёл переулком, где цвели фруктовые сады. «А в детдоме скоро звонок! — подумал я. — В клуб надо идти. Уроки готовить. Опоздаю — ещё хуже будет».

И я свернул в наш переулок.

Во дворе около Садыкова толпились наши мальчишки. Садыков своим громким командирским голосом разговаривал со Славкой.

Я решил, что говорили про меня. Приостановился у фанерного гриба. И, конечно, я угадал, потому что Садыков, увидев меня, многозначительно замолчал. А потом сердито сказал:

— Ага, вот и он своей собственной персоной... Отлично! Юлька и Славка, оба немедленно шагайте в канцелярию.

Садыков быстро пошёл по двору к дому, где была канцелярия. В стороне, около нашего куба-титана, сидел на корточках Партизан. Сегодня была его очередь кипятить чай к ужину. Ваня бросал хворост в топку. «Спрошу у Вани. Партизан скажет, что про меня говорили». И я присел рядом с Ваней.

— Юлька, — сказал он мне шёпотом, — Славка наговорил, что ты мыло на леденцы менял. Ребятам мыла не хватило...

— Я менял?!

Я рассказал, как Славка подвёл меня — сунул рванный рубль, а сам убежал.

— Значит, неправда! — обрадовался Партизан. — А верно, что тебе тётя Оля новый френч дала, а ты в нём в баню отправился?

И он пристально посмотрел на мой мятый френч.
— Это правда, — сказал я упавшим голосом.
И признался: — Она мне и бутсы новые дала...

— Новые?

— И френч и бутсы, — начал я, и голос у меня задрожал.

— Где же они?

Партизан теперь смотрел на мои босые ноги. Я всхлипнул и открыл Партизану, что случилось в бане.

— Какой-то злодей их стянул!

— Плохо, — сказал Партизан шёпотом. — Садыков про бутсы знает?

— Нет... А Осип Петрович вернулся? Приехал?

Осип Петрович вчера вечером по делам уехал в Фергану. Вся моя надежда была на него. Пойду к нему и всё расскажу.

— Осип Петрович и завтра не приедет. Юлька, — шептал Партизан, — иди скорей к Садыкову. Он горячий, ещё хуже будет, если не пойдёшь. Иди! Он, может, ещё найдёт твои бутсы, пока не поздно.

Я сидел перед титаном и бросал хворост в топку.

— Иди, Юлька! — уговаривал меня Ваня. — Садыков, конечно, кричать будет. А ты молчи. Он тебя простит. Он отходчивый. Помнишь, меня простил...

Но я знал, что провинность, которую Садыков недавно простил Ване, была меньше моей. Как-то Партизан расшалился и подставил девчонкам подножку в тёмном коридоре. Это простить было можно. А меня вряд ли он простит. Я нехотя поднялся и, прихрамывая, поплёлся по двору.

Садыков с тётёй Олей уже сами шли ко мне.

— Ну, вот он! — встретила меня тётя Оля. — Вот он, наш модник. Гляди, Садыков, как новенький френч отделал. Всё Осипа Петровича поблажки... Полюбуется он на своего любимчика. А где бутсы? — испугалась она.

Я хотел сразу повиниться во всём — тётя Оля помешала.

— Садыков! — начал я. — Славка сказал, что я мыло менял. Неправда!

Садыков оборвал меня:

— Виляешь? С кого пример берёшь? Со Славки? Это же самый отсталый человек. Иргашой и Партизан так бы не поступили. Славку мы не раз хотели в другой детдом перевести. И тебе с ним хочется...

Тогда, сам не знаю как, вырвалось у меня:

— Не имеешь права!..

— Что? — переспросил Садыков.

— Права не имеешь, — сказал я. — Ты без Осипа Петровича тут не хозяин. Ты...

И тут у меня дух перехватило. Я заревел. Зачем я так сказал? Вокруг ребята стояли. Они тоже всё слышали.

— Вот тебе и ленинградец! — сказала тётя Оля. — Вот тебе и Юлька Семёнов!

Опустив голову, я быстро шёл в конец двора, где за изгородью жили наши ослики. Схватил за уши маленького Фоку, прижался к нему и опять заревел. Что я натворил! Почему всё так получилось? Ни учителям, ни вожатым я никогда прежде не грубил. Значит, правда я распустился... Я вспомнил, как мы дружили с Садыковым, ленточку на карте перекалывали. Как он по воскресеньям водил нас в кино. Он любил командовать, но всё равно он был хороший. А я что наделал?

Я взял метлу, стал двор подметать. Сводил Фоку на арык напиться.

Горн затрубил в переулке.

Это ребята строем уходили в госпиталь, несли бойцам подарки.

А про меня никто не вспомнил. Даже Партизан забыл, одного бросил. Я долго бродил по двору, зашёл в клуб. Время тянулось очень медленно. Во всём детдоме оставались повариха тётя Феня да тётя Оля. Мне не хотелось встречаться с ними, и я из клуба отправился в спальню. Улёгся на кровать. Лежал и думал... Я был кругом виноват. Зачем я нарядился?

Иргашой, правда, так бы не сделала. А Партизан? Партизан, может, не выдержал бы, подумал я, может, надел бы френч и бутсы...

Завтра вызовут меня в клуб, на сбор.

Хоть бы Осип Петрович приехал завтра!

Я вспомнил, как улыбался мне Осип Петрович, как звал меня: «Ленинградец». Я очень любил его. Маме собирался о нём писать. Я даже ревновал его немного к Садыкову, к Иргашой, к Ване. Мне хотелось, чтобы он любил меня больше.

Ах, если бы мама была со мной! Я вспомнил, как в Ленинграде в школе был дежурным. Переставлял в классе на подоконнике цветы и выдавил нечаянно горшком оконное стекло. Меня вызвали к директору. А мама пошла со мной и заступилась за меня.

Но то стекло было, а тут целые бутсы. Тогда войны не было и всего хватало, а сейчас всего в обрез.

И мне так захотелось домой, что я во сне увидал Ленинград, наш дом, маму.

Мама снилась мне так ясно, что, когда утром я открыл глаза и увидал на соседней подушке култышку, я никак не мог сообразить, что это детдомовская спальня и рядом со мной — Ваня.

УРАГАН

Наверное, было ещё очень рано. Солнечный зайчик на стене был такой румяный и розовый, какие бывают только на заре. Я приподнялся на кровати. Ребята ещё спали.

Слева спал Гоша Остров, уткнувшись лицом в подушку. Куртка его с матросским воротником висела на спинке кровати.

Напротив моей была Славкина кровать. Он спал на спине, закинув голову так, что был виден его курносый нос и родинка на щеке.

Я сразу вспомнил вчерашнее, оделся, обул старые ботинки с ободранными носами и вышел во двор.

Было и правда очень рано. Солнце ещё не взошло, и только облака и верхушки деревьев были ярко-розовые.

«А что, если сбегать в военкомат? — подумал я. — Справиться о маме. Очень долго не отвечают мне из штаба, из Москвы. Может, сейчас пришло письмо?»

И я снова так ясно вспомнил свой сон, будто наяву видел маму.

Военкомат открывали в восемь часов. Если мне пойти сейчас? В военкомате всегда много народу, очереди. А я приду первым, подожду на улице и вернусь сюда к половине девятого, к началу уроков.

Только я открыл калитку и вышел в переулочек, как в лицо мне ударил ветер. Он сам захлопнул калитку за мной. Сильный внезапный ветер часто прилетал к нам в Коканд. Осип Петрович говорил, что ветер здесь потому такой сильный, что мы живём у входа в ущелье. Проход тут узкий, ветру лететь с гор тесно, поэтому он врывается к нам с таким свистом, как громадная птица, носится по улицам день и ночь, бьётся в двери, в окна. И потом сразу пропадает.

Когда я вышел из переулочка, ветер выл, звенели провода, в лицо мне летели розовые лепестки с деревьев. Но ветер почему-то успокаивал меня.

Не добежав до площади, где слушали передачи из Москвы, я остановился у чайханы. Терраса чайханы вылезала на улицу и даже загораживала её. Днём около чайханы стояли ослики, а хозяева-колхозники, сидя на корточках или поджав калачиком ноги, пили здешний зелёный кок-чай. Сейчас посетителей ещё не было. На кошмах, которыми была устлана терраса, на блюдах, как птицы на озере, стояли цветастые большие чайники. Высокими горами были составлены пиалы.

Сбоку от террасы, перед большим котлом, вмазанным в печку, сидел старый толстый чайханщик и размахивал соломенным веером — раздувал огонь. Он сказал мне что-то по-узбекски. Может, велит уходить? Я пошёл дальше переулочком к военкомату. А ветер

налетал на меня со всех сторон, гнул макушки деревьев, кружил листья.

Двери военкомата были открыты. В коридоре старуха уборщица подметала веником пол. Она молча пропустила меня.

В коридор выходили разные двери — с окошками, с решётками, с ящиками для заявлений. В конце коридора на двери была надпись: «Корреспонденция». В этой комнате за конторкой сидела девушка-узбечка, у которой я узнавал, нет ли писем от мамы.

Дверь была заперта. Я постоял немного и пошёл к выходу посмотреть на круглые настенные часы. Было ровно восемь. Может, уйти? Вдруг ещё долго придётся ждать? Но я вспомнил вчерашнее и подумал: будь что будет, останусь тут! Я присел около стены на корточки, и тревожные мысли сами лезли мне в голову. Вдруг правда отправят меня в другой детдом? «Не пойду. Ни за что. Лучше убегу. К Гале пойду. На работу устраюсь в больницу...»

Входная дверь хлопнула. По коридору шла знакомая девушка-узбечка.

Она узнала меня и издали поздоровалась.

— Получил письмо? — спросила она ласково. — Я тебе его неделю назад отправила. В детдом.

Сердце у меня забилося. Про какое письмо она говорит? Я не получал письма. Вдруг это плохое письмо... Я низко нагнул голову, я испугался.

— Ты не огорчайся, — сказала девушка. — Твоя мама без вести пропала, а не погибла. Сейчас многие... Не бойся!

Я не слышал, что девушка говорила дальше. Мне хотелось уйти из военкомата, остаться одному. Пропала без вести... У немцев в плену или навсегда, совсем пропала? Лицо у меня горело. Я пошёл по коридору. У входной двери прижался лицом к холодному стеклу, увидал, что ветер на улице ломает ветки, кружит белые лепестки. А по стеклу стекают крупные капли дождя.

Это был не ветер, а ураган.

Я не знал, что мне делать. Вспоминал, как собирала мама мой заплечный мешок в дорогу, как мы шли в последний раз в бомбоубежище и она успокаивала меня. Неужели я больше не увижу её? И мне захотелось сейчас же ехать отыскивать её. На фронт, в тыл к немцам, только бы найти маму!

Не помню, как я вышел из военкомата. Плохо помню, как добрался до чайханы. Идти было трудно, от дождя земля сразу распухла, стала скользкой. Ноги у меня разъезжались. Свернув с улицы Навои в наш переулок, я лицом к лицу столкнулся с тем новеньким, которого вчера привели к нам в детдом. У новенького под мышкой был свёрток.

Я вспомнил, что новенький вчера не ночевал в детдоме. Садыков поздно вечером зашёл к нам в спальню, спросил, кто его последним видел.

— Ты из детдома? — остановил я его.

Он отрицательно мотнул головой и бросился в сторону.

— Вожатый идёт! — крикнул он. — Бежим!

Новенький побежал по переулку, и я за ним. Мы пролезли в дыру с доской от выломанной двери, пересекли маленький узбекский двор и очутились на сквере.

Посреди сквера стояла фанерная будка. Вот тебе и раз! Ведь это сюда меня картавый мальчишка ночью завёл. Новенький подбежал к будке, открыл дверцу, и мы спрятались в фанерной будке.

БЕГСТВО

В будке стояли две пустые бочки. Я взобрался на бочку и через щели в стене стал смотреть, что делается снаружи.

Стены будки были худые, и вся она просвечивала. В щели рвался ветер, брызгал дождь. Но через большую дыру на крыше уже виднелся синий клочок чистого неба. Ураган кончался, тучи расходились.

Садыкова я не увидел, уселся на бочку и сперва почувствовал облегчение. Хорошо, что я новенького мальчишку встретил. Он поймёт меня — товарищ по несчастью. С товарищем всегда легче.

— Ты убежал из детдома? — спросил я. — Где ночевал?

— На вокзале, — сказал мальчик. — Я хотел в Самарканд ехать. У меня под Самаркандом, в колхозе, дядя живёт. Я к нему еду.

— Почему же не уехал?

— Вчера поезда на Самарканд не было. Поезд сегодня пойдёт.

Мальчик примолк. Мне казалось, он чего-то не договаривает и с опаской глядит на меня. Как будто его не радовала наша встреча. А мне так хотелось рассказать ему всё!

— Зачем в Самарканд... Поедем на фронт! — начал я.

Мальчишка выглянул из двери.

— Есть хочешь? — спросил он.

— Не хочу... Мама моя без вести пропала, — с трудом выговорил я. И пожалел: зачем я сказал ему про маму? Он даже не слушал меня.

— Сиди тут, — сказал он. — Мимо сквера колхозники на базар ездят. Я у них что-нибудь выпрошу!

Он выскользнул в дверь. В будке стало тихо. Только изредка стучали по крыше дождевые капли. Солнце проглядывало и опять пропадало. Но теперь я рад был, что мальчишка ушёл. Глупый он, кажется, парень. Славка его настрашал, что в детдоме плохо. Но ему бы хорошо жилось. А вот я... Мне не надо туда возвращаться. Не надо. Бедная мама... В последнее время я меньше вспоминал о ней. Мне жилось хорошо, я думал, и ей так же. Она в санитарных поездах разъезжает. Операции делает, раненых спасает. Получает ордена и медали. А мама без вести пропала! Если бы я знал про это, не стал бы вчера в новый френч наряжаться, разведчика изображать...

Паровоз прогудел рядом. Стучали колёса, ехал

поезд. Значит, недалеко железная дорога. Может, и вокзал близко.

Мальчишка не возвращался. Второй поезд прошёл мимо. Остановился. Спустил пары и дал гудок: скоро отправится.

А мне вдруг представилось, что к вокзалу подошёл сейчас длинный состав — военный. Бойцы с котелками бегут по перрону. Спрятаться бы в тамбур, поехать с ними.

Я высунулся в дверь.

Передо мной был заброшенный пустой сквер с разрушенным фонтаном.

Дождь уже прошёл, небо с белыми облаками было похоже на синее море с гребешками волн. Почему ноябрьский не идёт? У меня не хватало терпения сидеть тут. Надо уходить. Я постоял в дверях, опять вошёл в будку. Куда пропал мальчишка? Может, в детдом вернулся?

Мне захотелось, чтобы он вернулся туда и рассказал, где я, что со мной случилось.

Прошло ещё с полчаса, и ждать стало невтерпёж. Я вышел из будки. Пересек сквер, свернул на широкую, мощённую булыжником улицу с высокими пирамидальными тополями. По улице шёл народ. Я обогнал прохожих. «Вокзальная», — прочёл я на перекрёстке. Та улица, по которой я ночью шёл с картавым. Значит, прямо на вокзал попаду?

Около витрины с большим кренделем я остановился. Из распахнутых дверей булочной пахло хлебом. У меня под ложечкой заныло от голода. Есть захотелось. Вспомнил я, как пробирался из Поволжья в Коканд... И тут кто-то тронул меня за плечо. Я увидел Ульмасай-апа в полосатом длинном платье.

— Ой-эй! — тревожно сказала она. — Ой-эй, Юлька!

Она смотрела на меня, качала головой и всё говорила:

— Детдом, Юлька! Кочь, Юлька!

Она знала, что я убежал оттуда? Ульмасай-апа

взяла меня за руку, что-то по-своему залопотала, вывела на мостовую и подтолкнула в сторону детдома. Я пошёл по мостовой, свернул назад к скверу. Нет, в детдом всё равно не пойду! Меня, наверное, простят, когда про маму узнают. Только самому будет стыдно жить там, спать под тёплым ватным одеялом, когда мама... Если бы новенький вернулся! Мы вместе с ним убежим на фронт. На один поезд сядем.

Вот и сквер. Вот и будка. Меня знобило от холода или оттого, что я не ел с утра. Хоть бы новенького встретить! Забыли все про меня — Иргашой, Зорька, Партизан... Им всё равно, что меня нету. Ну и ладно. Я докажу им, что я... И я остановился посреди сквера.

Я увидел Осипа Петровича. Прихрамывая, он шёл ко мне от фонтана. Он тоже увидал меня.

— Юлька, — сказал он, подойдя ближе. — Что тут без меня произошло? Говорят, ты из детдома бежать собрался? Правда это?

Осип Петрович присел на край разрушенного фонтана и стал набивать трубку табаком.

— Ты, говорили, с самого утра исчез... И не завтракал?

Он пристально взглянул на меня. Я отвернулся. Здоровой рукой он притянул меня к себе и поднял за подбородок голову. Так папа мой делал. Мне хотелось прижаться к нему. Но этого я не посмел — ведь Осип Петрович любил мужественных людей.

— Рассказывай, ленинградец, всё по порядку... — сказал он.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Всё, всё рассказал я ему: про френч и про бутсы, про баню и Садыкова. А про маму не мог сказать. Пусть это пока будет моя тайна. Я расскажу её одному Партизану.

Он слушал меня не перебивая. А когда я кончил, негромко спросил:

— Где ты утром был? В военкомате?



— Рассказывай, ленинградец, всё по порядку... — сказал
Осип Петрович.

- Да...
- Всё знаешь?
- Знаю.

Он опять помолчал. А потом начал:

— Ну, слушай... Повестку из военкомата я получил три дня назад. И нарочно её тебе не показал. Теперь я об этом жалею... Хотел прежде к военкому зайти, справки навести. Всё хорошо узнать, а потом с тобой поговорить. И не успел — меня срочно в Фергану вызвали. Кто знает, может мама твоя скоро найдётся... Знаешь, сколько партизан в тылу у немцев, в лесах, в оврагах скрывается? С ними, возможно, и твоя мама. Я сам до ранения два месяца жил в партизанском отряде. Брат мой и сейчас там партизанит.

Я не спускал глаз с Осипа Петровича.

— А куда ты бежать вздумал?

— На фронт, — сказал я тихо.

— На фронт. А разве ты не знаешь, что тебя с дороги вернут? Что ты помехой там будешь?

— Нет. Я с фашистами буду драться. Может, и к партизанам проберусь. Маму найду. Я Красной Армии помогать буду... А бутсы... я знаю, они государственные. Я за них деньги пришлю. Свою зарплату...

Я заплакал.

— Бутсы твои нашлись, — сказал Осип Петрович.

— Нашлись?

— Вернёшься в детдом, наденешь свои бутсы. Но подумай сперва, что ты затеял...

Осип Петрович говорил негромко, серьёзно.

— Ты маму хочешь разыскать? Нет, друг, это слова пустые, сам ты её не разыщешь. Партизан у нас миллионы. А фронт от Ледовитого океана и до Чёрного моря тянется. Ну ладно. Положим, удалось бы тебе линию фронта перейти, в чём я сомневаюсь. Попадёшь ты на территорию, немцем занятую. А потом? По лесам, по долам будешь бродить, маму звать? Мы с тобой лучше по-другому сделаем. Есть у партизан свой центр, своё управление. Это главный штаб партизан. Он там же, где штаб всей нашей армии, в сто-

лице, в Москве. Вот давай в главный штаб партизанский и напишем. В штабе и фамилии, и имена, и дела партизанские — всё известно. А теперь дальше слушай. Позавчера, перед отъездом, вызвали меня в военкомат. По важному делу. Комиссар предложил нашему детдому огород в горах. Военный фронтовой огород. Все овощи пойдут в госпитали и воинские части. Сегодня к нам в детдом комиссия приедет. Представители от военкомата. Если ребята согласятся помочь фронту, они договор подпишут — обещание дадут поработать летом на огороде. Это будет настоящая помощь фронту... Правду я говорю?

...Когда мы с Осипом Петровичем подошли к детдому, мне стало стыдно: как я встречусь с ребятами? Осип Петрович понял это. Потрепал меня по плечу и подтолкнул к калитке.

Было послеобеденное время. Двор был пустой. Из клуба слышался рояль и хор пел песню:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идёт война народная,
Священная война!

— Сегодня концерт после собрания будет, — сказал Осип Петрович. — Слышишь, репетируют. А ты отправляйся в столовую, там у дежурного получишь свой обед.

КОМИССИЯ

После обеда я через сад пробрался в столярную мастерскую — знал, что тут в это время никого не бывает, мне не хотелось встречаться с ребятами. Я стал строгать кухонную доску, которую давно обещал тётке Фене, но ко мне неожиданно прибежал Гоша. Гошу я не стеснялся и стал расспрашивать, что про меня ребята говорили, но толком у этого малыша ничего не мог узнать. Он искал свой грузовик, который ему недавно сколотил Ваня.

За стеной всё время пели, играли на рояле. А в

окно было видно, как ребята подметают двор, таскают скамейки в зал, готовятся к приезду военных.

Я провозился в мастерской больше часа, нарочно опоздал на торжественное собрание, в зал вошёл, когда собрались все, и сел позади.

На сцене за столом, покрытым красной скатертью, сидели Осип Петрович, Садыков, Партизан, Иргашой и молодой капитан с орденом Красной Звезды. За его стулом стоял костыль.

Все слушали другого военного — полковника.

Полковник, маленький, полный, весело что-то рассказывал. Он жестикулировал, ходил по сцене, говорил, как недавно с делегатами Узбекистана отвозил на фронт подарки бойцам.

— Когда наш эшелон с подарками, — говорил полковник, — прибыл на фронт, был отдан приказ расставить столы на большой поляне под столетними соснами. Ну, посылки вы, ребята, тоже собирали. Знаете, что мы везли. На столах узбекистанские фрукты, орехи разложили. Всякую снедь: копчёную рыбу, мёд, сало... А стол зелёными ветками украсили. Стоим на поляне у столов — ждём дорогих именинников. Пожалуйста за подарками!

Старшины стали на поляну собираться. Оркестр духовой заиграл. И вдруг в небе: р-р-рыыы... р-р-рыыы... Вражеский разведчик кружит над нами. Видно, учуял с высоты, чем пахнет. И решил сбросить сверху свой подарок — фугаску! Фугаска порядочная была. Самый старый дуб даже крикнул, ветками закачал, набок накренился.

«Ага! — сказали бойцы. — Праздник нам испортить задумали. Ну, держитесь! Товарищи делегаты, разрешите сделать маленький антракт...»

На фронте дисциплина железная: хочешь не хочешь — подчиняйся. Генерал отдал приказ: всем делегатам спуститься в блиндаж, отдохнуть после дороги. Ну, а бойцам — отвести своё сердце. Подарки мы снова в ящики сложили. Бойцы их в укрытия перетаскивали. Спустились мы в землянку. Сидим и ждём,

когда «антракт» кончится. А вместо «антракта», чувствуем, начинается бурное представление. Землянка наша ходуном ходит... Ну, про «катюшу» и «андюшу» вы слышали? — весело спросил полковник. — Знаете, кто они?

— Знаем! — закричали ребята. -- Орудия советские!

Это были тогда самые новые наши огнемёты. До того мощные, что фашисты больше всего боялись их, а наши бойцы называли, как живых: «катюша» и «андюша».

— Орудия? А я думал, вы скажете: люди! — засмеялся полковник. — Ишь, какие прыткие! На фронте не были, а всё знаете! А мне как сказали — «катюша» с «андюшей» работают наверху, я решил, что это богатыри небывалые... Не терпится мне увидеть их! Попросил разрешения у генерала подняться наверх.

Только приоткрыл дверь землянки — не глядя на мой возраст и чин, воздушная волна как посадит меня у самого порога на землю! Сажу на землю и ничего понять не могу. Куда, думаю, попал? Дождём хлещут молнии. Земля по швам трещит. Тут ко мне адъютант подполз и на ухо объяснил: «Ничего особенного, просто «катюша» и «андюша» на своём языке с фашистами объясняются»...

Мы слушали полковника, хлопали в ладоши и даже ногами стучали.

И, когда мы немного успокоились, полковник стал рассказывать дальше.

— Бой кончился к вечеру, — продолжал он. — Немцев выбили из районного города. Опять расставили мы на поляне свои столы с угощением. Поляна та самая, да только не совсем: кругом весь лес огнём опалило, ветки поломаны. Кусты полегли. На поляну бойцы собрались, кто в марлевой повязке на голове, кто с рукой на перевязи. А лица у всех радостные. Каждому мне хотелось бы по целому вагону подарков отгрузить. Но всё-таки первые подарки решил я вру-

чить «катюше» и «андрюше». Так и объявляю: «Кто тут «катюша» и «андрюша»? Пожалуйте к столу». Ну, и что вы думаете? Подходит ко мне молодой капитан. На костыле идёт, ступня белым бинтом перевязана. За ним идут сержанты, старшины, ефрейторы. Что такое? Капитан улыбается и говорит: «Прибыла, по вашему приказанию, боевая прислуга «катюши» и «андрюши». Сами явиться не могут. Да и вообще, незримые они, а какие — это уж строжайшая военная тайна. Кроме нас, боевой прислуги, с ними никто общаться не имеет права и в переговоры вступать не смеет». Ну что ж, раз дело такое, надо подчиняться. Стали мы боевой прислуге подарки вручать. Первый подарок получил капитан. Он в том бою в ногу ранен был, а с поля боя до конца не ушёл. Я его потом с собой в Коканд привёз. И сегодня, ребята, мы вместе к вам приехали...

Полковник показал на военного, который сидел рядом с Осипом Петровичем.

Мы кричали «ура», хлопали в ладоши, а капитан встал и заговорил. Говорил он недолго. От имени бойцов своей дивизии попросил насажать овощей для фронта и госпиталей. Он велел поднять руки тем ребятам, которые летом будут работать на огороде в горах.

Ваня вскочил из-за стола президиума и поднял кверху обе руки. Весь зал опять закричал «ура», все встали со скамеек и подняли руки.

Полковник вынул лист из военной сумки. Ваня Иргашой и Осип Петрович расписались на нём. Потом расписались полковник и капитан. Это был наш договор с военными.

— А теперь, ребята, споем! — сказал полковник. Он первый запел:

Суровый голос раздаётся...

Мы подхватили:

Клянёмся землякам,
Покуда сердце бьётся,
Пощады нет врагам...

Мы спели хором ещё несколько военных песен. Потом стол убрали со сцены. Полковник и капитан спустились в зал и сели в первом ряду, а на сцену вышли физкультурники. Гоша Остров декламировал. Выскочила на сцену в бескозырке, в белой матроске и длинных синих штанах Зорька. Она танцевала танец краснофлотца.

Военные пробыли у нас долго, даже ужинали с нами в столовой и хвалили пироги тёти Фени с печёной и наш любимый сладкий мучной кисель.

Меня никто не спрашивал про моё бегство, хотя я тоже всё время вертелся около полковника и капитана.

Вечером я столкнулся во дворе с Зорькой и Иргашой. Иргашой улыбнулась мне, хотела заговорить, но Зорька потащила её за собой. Это обидело меня. Ведь сколько я пережил за два дня...

Зато, когда мы улеглись и ребята заснули, я всё разузнал от Вани.

— Разве ты не знаешь, кто бутсы стащил? Новенький. В бане. А утром отправился с ними на базар. Там его милиционер — цап-царап! И привёл в детдом. Тут как раз Осип Петрович из Ферганы приехал. Новенький сперва всё на тебя свалить хотел. Будто ты ему бутсы велел продать. Чтобы вместе на фронт бежать. Деньги вам на дорогу нужны были... Но Осип Петрович ребят понимает! Он сразу сказал: новенький — парень неустойчивый.

Вот какой свёрток был у новенького под мышкой, когда мы в будке встретились! Знал бы я это, несдобровать бы ему...

— А про меня что Осип Петрович сказал?

— А про тебя сказал, что ты парень честный.

От радости я с кровати слез.

— Партизан, дай пионерское... Он так и сказал?

— Честное пионерское! Юлька, говорит, парень очень честный. Только ужасный фантазёр. И потом сказал: не был ли он в военкомате. Не узнал ли про маму?

Я опять лёг, закрылся с головой одеялом и под одеялом потихоньку повторял: «честный... очень честный... это я — очень честный парень!»

— А потом что было?

— Потом новенький сознался, что он в другую сторону направлялся — в Самарканд, а ты его звал с собой. Только, Юлька, разве это фронтовой друг? Мямля он и неустойчивый трус. Из-за такого я сам попал в окружение!

Ваня рассказал, что, когда немцы подступали к их селу, одного паренька послали в разведку. Тот с перепугу спрятался на сеновал. На рассвете вылез и доложил, будто немцы далеко... А через полчаса фашисты село заняли.

— Где теперь новенький?

— В карантинной. Заболел. Осип Петрович отправил телеграмму его дяде. Велел срочно за ним приезжать. А про бутсы он, как поправится, сам расскажет на сборе.

Мы долго шептались с Партизаном. Он понимал меня. Ваня тоже был ужасный фантазёр. И мы открыли друг другу тайные планы. Рассказали, что обязательно должны совершить какие-нибудь подвиги, и поклялись действовать теперь сообща. Рассказывать всего я теперь не стану, скажу только, что мы решили создать собственный детский батальон. Сплошные герои сражались в нашем батальоне. А слава о нас шла на весь мир!

Я не заметил, как глаза у меня закрылись. И я уснул.

* *

*

А со следующего дня мы стали готовиться к отъезду.

Осип Петрович достал нам книги по огородничеству. Мы разбились на бригады и по вечерам читали книги. Узнали, как нужно ухаживать за здешними: овощами, как проращивать семена дынь и арбузов и высаживать их на бахчи. Читали и про здешние расте-

ния — маш и джугару, о которых я прежде никогда не слышал. Таких круп в Ленинграде мы не ели.

Две недели прошли незаметно. Вот и учёба кончилась.

Ребят из двух первых классов отправили в оздоровительный лагерь. Один Гоша Остров не захотел расставаться с Иргашой и Зорькой и упросил Осипа Петровича взять его в горы. Нам уже хотелось поскорее выехать из Коканда. Хотя была середина мая, здесь стояла жарища и духота страшная. На улицах, в тени под деревьями, стояли голубые повозки, там продавали здешнее мороженое — пилёный лёд с кислым молоком и патокой, торговали зелёным луком и красной редиской величиной с маленькую репку. Редиска была вкусная, крепкая, а длинные огурцы мне не нравились: они были водянистые и вкусом напоминали кабачки.

Зато я объедался ягодами, которые поспели у нас в саду на тутовых деревьях. Тутовые ягоды по виду похожи на ежевику, только они очень сладкие и клейкие. А на урюковых деревьях висели ещё жёсткие и кислые, мелкие, как лесные орехи, плоды.

Наконец настал день отъезда.

Накануне Осип Петрович отпустил меня в больницу проститься с Галей. Там ждала меня большая новость: Галя получила военную повестку — её посылали на фронт сандружинницей.

— Обещай, что ты мне будешь писать с фронта! — просил я Галю. — Ты не забудешь меня?

— Что ты! — ответила Галя. — Кроме тебя, мне некому и писать. Часто буду писать. А ты смотри не бедокурь...

Я забыл рассказать, что Галя очень бранила меня за побег. Сколько я ни объяснял ей, как это случилось, она твердила своё — будто я этим поступком и Садыкова, и Осипа Петровича, и её обидел. Не ценил их доброго отношения. И даже с мамой не посчитался. Ведь могла она вернуться в это время в Коканд, а меня и след простыл! Галя судила меня даже строже,

чем Осип Петрович, и сказала, что я эгоист. Неужели это правда?

Но всё равно мы расстались друзьями. И оба всплакнули, когда я уходил из больницы.

Вернувшись в детдом, я стал собирать вещевой мешок. Взял карандаши и самодельный блокнот. Сюда буду записывать всё интересное... Зачем-то положил и красный мелок, который я случайно увёз в кармане из Ленинграда. На сердце у меня было тяжело.

Но потом я стал думать, что война кончится, мама найдётся... Мы с Осипом Петровичем ведь уже отправили в штаб партизан запрос о ней. Найдётся мама! Галя с фронта приедет. Я их познакомлю. А может, она к нам в Ленинград переселится. И мы будем дружно жить, ходить в кино и театры. Я Гале ленинградские музеи и дворцы покажу. И на коньках научу кататься... В Ленинграде катки замечательные.

А про Коканд мы часто будем с Галей вспоминать. И маме рассказывать... Хороших людей я тут встретил! Одно было обидно: зачем я с Садыковым поссорился. Осип Петрович велел мне за грубость извиниться перед ним. Садыков сказал, что прощает меня. Но дружбы между нами прежней не было. Я видел, что он не то разлюбил, не то разочаровался во мне. На площадь с громкоговорителем я больше не бегал по утрам. Я сидел на скамейке под деревьями, где у нас был свой рупор, и с трудом разбирал, что передавали из Москвы... Всё это огорчало меня. Хотя никому, даже Партизану, я про свое огорчение не говорил. Но я твёрдо решил сделать что-нибудь, чтобы Садыков опять меня любил.

Со Славкой мы не разговаривали. От него толку всё равно не добьёшься. И он меня избегал. Может, совесть в нём заговорила?

А новенького от нас скоро забрали. Приехал его дядя, колхозник, оказывается, в прошлом участник гражданской войны и безрукий, оттого его и на фронт не взяли. Уезжая, он благодарил Садыкова и Осипа Петровича.

— Я вам напишу! — сказал рыженький. — О своей жизни...

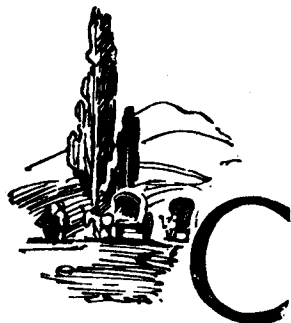
— Валяй! — сказал Партизан. — Мы тебе ответим!

Мы с Ваней потом часто вспоминали его. И недоумевали, как же такой трусливый и неловкий паренёк сумел до Коканда добраться? Нам почему-то было его жалко, хотя он немало вреда наделал мне из-за бутсов. Ну, а бутсы эти тётя Оля всё же отобрала.

— До осени пусть полежат у меня. А там видно будет, кому их носить придётся, — сказала она.

И заперла красивые бутсы в сундук для обуви.

• Часть шестая СБОРЫ



Солнце ещё не взошло, небо было светло-серого, серебряного цвета и луна, как стеклянная кривая дужка, висела над крыльцом, когда начались в детдоме сборы. В спальнях складывали матрацы, подушки, одеяла, выносили их во двор, где стояли арбы и дрожки с полотняным верхом. Мальчики выводили из сарая осликов и запрягали их. Мы наспех позавтракали в столовой и пошли на кухню — там тётя Феня раздавала ребятам помидоры, огурцы и хлеб на дорогу. На крыльце тётя Оля примеряла ребятам шляпы с широкими полями — соломенные, полотняные и даже бумажные колпаки с козырьками, которые она вчера наклеила с девочками.

Надо было торопиться. Решили выехать как можно раньше. Ехать в горы надо было целый день, голой

пустыней, под солнцем, а вчера большой градусник, который висел на окне канцелярии, в полдень поднялся чуть ли не до пятидесяти градусов. Какая же тогда жара в пустыне будет? Испечёмся...

Я, Иргашой, Ваня Маслов, Гоша Остров, Зорька и ещё трое ребят из четвёртого класса договорились ехать вместе на последней арбе. Когда Ваня впряг в арбу своего любимца Фоку, мы спохватились, чем прикрыть Фоке голову. Ведь здесь все извозчики своим лошадям шляпы надевают, если далеко едут. Мы даже примерили Фоке свои шляпы, но Зорька сбегала к тётке Оле и достала настоящую дамскую соломенную, с широкими полями, прорезала в ней дырки для ушей и надела на Фоку.

Пока мы привязывали верёвками подушки и одеяла к арбе, Партизан влез на белую акацию, срубил четыре большие ветки, приладил к арбе. И наша арба превратилась в зелёную беседку на колёсах. Затрубил пионерский горн. Это Садыков созывал ребят. Мы стали рассаживаться. Ваня уселся на тюк под самой большой веткой, как богдыхан под опахалом. Рядом с ним пристроился в белом платке, как в чалме, Гоша Остров. У них в ногах присела Зорька с зелёным листком на носу. Листик она заранее прилепила на нос, чтобы от солнца кожа не лупилась. Они с мамой всегда так делали, когда загорали на пляже.

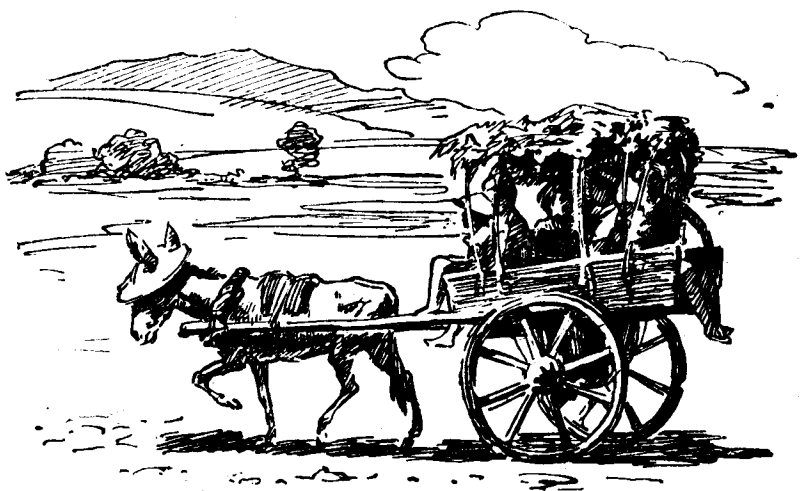
Осип Петрович проверил, как уселись ребята, и сел на дрожки, где уже сидели Садыков, учительница Вера Михайловна и тётка Феня.

— Уезжаем! — кричали ребята. — До свидания, тётка Оля! Прощай, детдом!

И арбы тронулись.

НА АРБАХ

Было ещё рано и потому прохладно. Колёса нашей арбы сильно скрипели, будто жаловались. Арба тряслась мелкой дрожью, подпрыгивала от каждого кам-



ня на дороге, но я не жаловался, терпел — так мне хотелось увидеть хлопковые поля, кишлаки, горы. Мне ещё ни разу не пришлось побывать за городом.

Мы переехали мост, на котором Славка дал продавцу рваный рубль, свернули налево. Минуты две ехали переулком, таким узким, что арба еле помещалась между заборами, цепляясь за них колёсами. Потом дорога стала шире. Домики с заборами и садами исчезли, и мы выехали на равнину, которая, как серо-жёлтый платок, покрывала всю землю до самого горизонта.

Кое-где зеленели сады, и они казались наклеенными клочками моха. Возле них, как игрушечные, еле виднелись заборы и дома с плоскими крышами.

Это и были кишлаки — здешние селения.

Ребята затеяли спор, я не слушал их и не отрываясь смотрел на равнину. Вдали поднимались лиловые горы. Вершины их сливались с небом, и от этого горы казались мне громадной дождевой тучей.

Хотя долина с горами и кишлаками была вся одинаковая, смотреть на неё было не скучно. Земля всюду покрылась от зноя глубокими трещинами. Возле дороги росли низкие растения с листьями, похожими на

колючки и шипы. По синему небу пролетали серые птицы с зелёными перьями на крыльях. Это, кажется, утки. Как тут медленно и низко они летают!

А вот вдаль синей лентой мелькнул арык. Вдоль арыка снова потянулись кишлаки с садами.

Я провожал глазами птиц, глядел на кишлаки и чувствовал, что становится невыносимо жарко. Солнце светило так ярко, что в глазах у меня стали прыгать жёлтые и зелёные пятна. Я посмотрел на ребят. Ваня сидит красный как рак. У Гоши из-под чалмы пот струйками льётся. У Зорьки глаза совсем слиплись, а лист на носу весь сморщился — высох.

И ветки нашей зелёной беседки тоже поникли, завяли.

«Вот это жара! Когда же приедем?» — думал я.

Наверное, уже три часа мы ехали, а горы будто отодвинулись, стали выше, темней. Неужели ещё долго придётся ехать? Мне казалось, что даже кости и внутренности у меня стали горячие и трясёт теперь невыносимо. Лучше пешком идти, чем так ехать!

— Ваня, прыгнем! Пойдём пешком!

Мне пришлось орать во всё горло, чтобы перекрыть скрипучую и тряскую арбу.

Партизан ничего не ответил, уткнулся в тюк с подушками и лёг ничком рядом с Гошей. Зорька тоже места себе не находила, то вставала на колени, то голову клала на тюк. Одна Иргашой с довольным видом сидела, поджав под себя ноги.

Караван наш двигался вперёд и вперёд.

В полдень, когда я ослеп от солнца и оглох от скрипа колёс, мы подъехали к старой чайхане, которая стояла у дороги. Перед чайханой росли три громадных карагача, даже толще того, который был в Коканде. Возле журчал глубокий арык. Осип Петрович велел сделать привал. Я едва доплёлся до террасы и повалился на кошму. Терраса была большая, но места всем не хватило, и старшие ребята ушли отдыхать под деревья.

В чайхане мы провели часа три, поспали, съели

помидоры и огурцы, которые тётя Феня дала на дорогу. Мы с Партизаном искупали Фоку и сами искупались в холодном арыке. Правда, течением унесло Фокину шляпу... Но зной уже спал, и караван наш снова тронулся в путь.

Долго ещё ехали мы однообразной голой пустыней. К вечеру на дороге всё чаще стали показываться зелёные кусты и холмы.

Дорога начала подниматься в гору. Арба поехала медленнее. Потом дорога пошла на спуск. Ослик побежал веселее. Арба опять затарахтела и остановилась.

— Что такое? — заинтересовался я, привстал и увидел, что дрожки и все четыре арбы тоже остановились.

— Приехали! Приехали! — кричал кто-то на передней арбе.

Я спрыгнул с арбы, побежал вперёд и увидел двухэтажный глиняный дом без окон, с большими террасами на втором этаже. В ушах у меня всё ещё тарыхтела арба, скрипели колёса. Но как тут было хорошо! Дом с террасами стоял посреди большой долины, такой зелёной, будто её только что окрасили и она не успела высохнуть, вся блестела. Серые горы загоразживали до половины небо. Кругом была тишина и прохлада, и мне показалось, что дом с террасами провалился в глубокий зелёный колодец.

Д Ж У Н Г Л И

Я вместе с ребятами таскал тюки с подушками по крутой, как пожарная, лестнице на верхнюю террасу, а когда спустился вниз, увидел Зорьку с Иргашой. Они направлялись куда-то от дома.

— Вы куда? — крикнул я.

— В поле! — ответила Зорька. — Пойдём с нами!

Она показала в сторону гор, на высокие зелёные заросли.

— Настоящие джунгли! — удивился я и побежал за девочками.

Будто гигантский ландышевый лес стоял перед нами. На толстых стеблях с листьями в мой рост качались метёлки с золотисто-жёлтыми крупинками. Я сорвал одну крупинку, раскусил её. Она по вкусу была совсем как гречиха. Метёлки тоже были как у гречихи, только крупнее и гуще.

— Это джугара, — объяснила Иргашой, — крупа такая. Разве не помнишь? Иногда тётя Феня из неё кашу варила.

По джугаровому полю проходила борозда, и мы гуськом пошли по ней. Ландышевые листья закрыли нас с головой. Вскоре мы очутились на площадке, где рос зелёный низкий кустарник. На кустах висели красные шары величиной с блюдце.

— Это помидоры! — воскликнула Зорька. — Громадины! Попробуем их?

— Уже всё посажено и поспело! — удивился я. — А что же мы будем делать?

— Как это — что? — сказала Иргашой. — Это первый урожай. Разве не знаешь, что у нас в Узбекистане овощи по два, а то и по три раза сажают и урожаем три раза снимают?

Девочки пошли меж помидорных кустов, а я остановился. Передо мной поднимались горы. Впервые увидал я их так близко, и они поразили меня. Словно из глубины земли вылезали серые голые камни и громоздились до неба. Кое-где в них, словно нарочно, воткнули зелёные деревья и кустарники. Над серыми горами висело солнце, как круглый малиновый шар. Такого солнца я тоже никогда не видал.

Я пристально смотрел на малиновое солнце, на горы. И вдруг мне показалось, что я стал маленький, с песчинку, что у меня, как в сказке, стали уменьшаться руки, ноги.

Солнце упало на зубчатые вершины, покатилося по ним, как по лесенке, и стало так быстро тонуть за горами, как будто его тащили на верёвке вниз.

Когда солнце пропало, небо над вершиной всё вспыхнуло, будто его подожгли снизу. Небо горело сперва оранжевым заревом. Потом оранжевое зарево закрыл малиновый бархатный занавес. Бархатный занавес стал лиловеть, превратился в золотой, потом в зелёный. Но уже не бархатный, а атласный.

Я всё стоял на краю джугарового поля, глядел на небо и удивлялся.

Небо над горами менялось, как в театре, и я решил: сейчас из-за гор выедет Золушка на колеснице из тыквы, вылетит маленький Мук в заколдованных туфлях, а с ним и все другие волшебники. Но горы стали сереть. С неба кто-то убирал и зелёные и малиновые занавеси. Небо стало некрасивое, а горы — синие. Поле тоже стало одинаковым, серым.

«Где же Иргашой и Зорька? — вспомнил я. — Куда они спрятались?» Я стал звать их, кричать. Никто не откликнулся.

Я опять повернулся к горам. Они уже слились в сплошные громады. Стали опять красивые, но страшные, чёрные и неприступные.

«Теперь там ни одной живой души, — подумал я. — Только звери рыщут».

И вдруг на середине чёрной горы блеснул огонёк. Мигнул и погас.

В лагере затрубила пионерская труба. Зорька и Иргашой бежали ко мне. Мне показалось, что они прибежали издалека, из чужой страны. Зорька подала мне большой помидор, такой тёплый, будто его только что ошпарили кипятком. Это он от узбекского солнца так нагрелся.

Когда мы вернулись к дому с террасами, было почти темно. «Как быстро наступает в горах ночь!» — удивился я.

Перед домом никого не было. Ребята забрались на террасы. Оттуда был слышен голос Осипа Петровича. Около серых валунов, нагнувшись над казаном, стоял з тетя Феня. Под казаном тлели угли. Тётя Феня окликнула нас.

— Выскребайте из казана остатки, — сказала она. — Куда от ужина убежали!

Иргашой половником выскребла казан и наложила нам полные пиалы шавли — узбекской рисовой каши с морковью и луком. Мы сели ужинать на землю. Воздух был уже совсем холодный. Зато земля такая горячая, будто её только что прогладили утюгом. Мы ели кашу и слушали, что говорит наверху на террасе Осип Петрович.

Он говорил, что работать мы начнём завтра. Бригада рабочих, которая приехала сюда в марте, засеяла огород, сняла первый урожай — лук, редиску, репу и морковь — и вчера утром переехала на другую долину. Теперь мы полные хозяева. Надо сразу перекапывать свободные гряды, засеивать их второй раз.

— Весь урожай, который мы соберём в нашей долине, будем возить в Коканд, в госпитали... Я знаю, тут среди вас есть немало ребят, которые мечтают о подвигах. На словах мечтают или на деле? Это мы увидим. Ребят разобьём на бригады. Бригады будут соревноваться. Кто станет лучше работать, тот на деле покажет свою любовь к Родине. Тот будет настоящим патриотом! Урожай в госпитали отвозить станете сами. Словом, с сегодняшнего дня мы с вами настоящие работники фронта. Бойцы!

Вера Михайловна стала читать списки бригад, выкликала ребят по именам. Дошла очередь до меня.

— Юлик Семёнов!

— Здесь! — крикнул я.

Осип Петрович вместе со здешним бригадиром, старым узбеком, сошёл вниз, они стали совещаться, а нам велели укладываться спать.

Когда по деревянной лестнице я вскарабкался наверх, на террасу, у меня мурашки по спине забегали, так тут было холодно. Это со снежных вершин спустился сюда холод. Ребята стелили на полу, на открытых террасах, кошмы. Я лег на свою кошму рядом с Партизаном, закутался ватным одеялом, долго дрожал, потом согрелся. Я уже засыпал, но вспомнил про

горы, опять открыл глаза, чтобы поглядеть, какие они стали, и увидел на большой горе снова огонёк.

«Интересно, кто это живёт на горе?» — подумал я.

КРАСНЫЕ ЦИФРЫ

После завтрака мы разбились на бригады, захватили лопаты, грабли, совки и отправились на участки. Бригадиром у нас была Иргашой. В бригаде со мной работали Зорька, Партизан, Гоша. Нам отвели участок между помидорным полем и джугаровыми джунглями, там, где я вчера любовался горами. Я поглядел на них и опять обрадовался. Днём они стали другие — весёлые, приветливые. До самых вершин их покрывали, как царапины, тропки. А на зелёных склонах ходили овечьи стада.

Оказалось, в нашей долине было четыре зелёных поля с высокой джугарой, кукурузой, тыквой и помидорами, да ещё много гряд с луком, редиской, морковью. А остальную землю надо было заново засеять.

Ребята в соломенных шляпах разошлись по всей долине.

Мы перекапывали гряды узбекскими лопатами — кетменями. Кетмень похож на широкую кирку. И взрыхлять им землю надо по-особенному — будто лёд колешь. Земля тут очень плодородная, но твёрдая, как камень, потому что воды мало.

Когда наша гряда была готова, мы с Иргашой пошли за свекольной рассадой в парники. В парниках, за домом, работал бригадир — маленький, как карлик, смуглый и добродушный узбек.

— Твой умеет свёкла сажать? — спросил он у нас. — Корешок рвёт, вода купает, земля сажает...

Старичок показывал, как надо сажать рассадку. Он сел на корточки около нашей гряды, ловко отщипывал ногтями розовый свекольный корешок, окунал его в ведро с водой и опускал в лунку. Скоро и мы научились так же управляться с рассадкой.

На соседнем участке, где работал Славка, сеяли узбекский горох — маш, мелкий-мелкий, как зелёные дробинки.

Слева ребята разделявали гряды под огурцы, фасоль, красную репу.

А далеко в поле Садыков с ребятами сажал кабачки и синие баклажаны.

Я поглядывал на Славкин участок. Он тоже косился на мою грядку, а когда его бригада кончила работу раньше и отправилась обедать, задиристо крикнул:

— Эй вы, отстающие! На буксир не желаете?

— Молчи, воображала! — рассердилась Зорька. — Заважничал! Покажем ему после обеда, какие мы отстающие. Правда, ребята?

Мы решили обогнать к вечеру Славкину бригаду. Посадили первую грядку и тоже пошли на площадку перед домом обедать. За обедом ребята рассказывали новости. Здесь всем понравилось. Узнали, что за домом есть бассейн, вроде бочажка, куда вода стекает из арыков. Будет где купаться! Ребята, которые ходили с Садыковым на дальние участки, рассказывали про здешних громадных ящериц-желтопузов, похожих на змей. Ребята думали, что это жёлтые ужи греются на солнце, а когда подошли поближе, желтопузы выпустили маленькие лапки из-под брюшка и уползли. Рассказали ребята, что у подножия горы много тутовника, ежевики и дикой алычи — мелкой сливы. Всё уже поспекает. А до подножия горы совсем недалеко. Говорили, что, кроме нас, ни одна душа здесь не живёт. Только в горах, откуда воду в долину пускают, поселился водный техник. Его ребята встретили у подножия горы — он высокий, молодой, в шляпе грибом. На днях обещал приехать в лагерь. Велел получше смотреть за арыками, не засорять их.

После обеда тётя Феня дала нам по огромной морковине, прямо с гряды. Морковь была сладкая, но не оранжевая, как наша, а ярко-жёлтая, с зеленоватым отливом.

Пришёл Осип Петрович, Садыков, Вера Михай-

ловна. Они были в поле, смотрели нашу работу и всех похвалили.

— Ну, ребята, если каждый день будете работать, как сегодня, Красная Армия вам благодарность объявит! — сказал Осип Петрович.

На площадке перед домом стоял столб со щитом. Видно, это была доска соревнования. Мы решили тоже записывать на щите свою выработку. До вечера мы перекапывали гряды, высаживали рассаду. А когда солнце стало опускаться, небо сделалось малиновым, на поле засверкали узкие зеркальные полосы — это по арыкам потекла вода. Она текла быстро, с напором, будто кто-то подгонял её, как дворник метлой. Арыки заполнились водой до краев. Наши гряды стали темнеть, впитывать влагу. Наверное, техник, которого ребята видели у подножия горы, открыл шлюз.

Интересно бы попасть к нему на гору!

Только к ужину мы вернулись в лагерь. Бригады мелом написали на щите нашу выработку: кто сколько гряд вскопал, засадил. На первом месте была бригада Садыкова. Мы всё же догнали Славкину бригаду: были наравне.

Я стелил на террасе постель, укладывался спать, когда заметил, что внизу возле щита крутится Славка. Луна взошла, на площадке было светло, как днём. И я увидел, что Славка быстро рукавом смахнул что-то с доски и написал снова.

— Эй! — крикнул я сверху. — Плутуешь?!

Славка живо спрятался за дом. Мы с Партизаном скатились по лестнице вниз и видим: так и есть, Славка свою выработку стёр и написал цифру в два раза больше.

— Вот фокусник! — возмутились мы.

Прибежали Зорька, Иргашой и другие ребята. Когда старшие ребята увидели Славкину проделку, они засмеялись:

— Это как в басне: ври, да знай меру! Он бы ещё больше прикинул!

— Прочитать его надо! — возмутился Ваня.

— Разве это игра! Он теперь повадится плутовать! — сердилась Зорька.

А Славка, видно, сам испугался и смирно вышел из-за дома.

— Да что вы, ребята, — сказал он миролюбиво. — И пошутить нельзя! Я для смеха это сделал! Для потехи.

Удивительный плут был Славка.

— Раз вы шуток не понимаете, этого больше не будет! Ясно?

И, хотя он ещё долго прикидывался шутником, мы ему не поверили. Я сбегал наверх. У меня в вещевом мешке лежал ещё ленинградский красный мелок. Этот мелок я передал Иргашой, которую мы выбрали старшим учётчиком по всем бригадам за её честность.

— Теперь не будешь плутовать! — сказала Иргашой Славке.

Мы ещё поругали его и ушли спать.

В тот день мы так устали, что, хотя луна светила прямо в лицо, я тут же уснул.

Наутро прибежал первым на гряды и расстроился:

— Иргашой, Партизан, Зорька! — закричал я. — Всё пропало. Завяла наша свёкла. Пересаживать надо!

Ботва лежала на земле вялая, как мёртвая. Неужели не приживётся?! Ваня успокаивал меня. Иргашой смеялась. Они оказались правы: дня через два от земли, от корешка, показались новые тёмно-красные листики.

А ещё через неделю вся долина была засеяна, и всходы покрыли зелёными ковриками гряды. Мы гордились ими, берегли маленькие растения. Даже разговаривали с ними, как будто они понимали наш человеческий язык.

— Смотри, свёкла, не выпустишь к утру новый лист, соседку твою прополем, а ты живи с сорняками!

Свёкла слушалась нас и выпускала лист.

Особенно любила такие разговоры Зорька.

— Зачем ты, свёкла, тянешься вверх? Глупая! Про корешок забыла? Толстей, старайся.

У каждого растения, как у человека, оказался свой характер. Старик узбек учил нас:

— Лук не трогай пальцами! Лук — гордец... А свёкла — лентяйка. Ты её за корешок расталкивай. И морковке помогай!

По совету старого узбека мы раскачивали корешки свёклы и моркови. Земля расступалась и не мешала им толстеть. Сперва ребята смеялись над нами, говорили, что мы испортим урожай. А потом стали советоваться со старичком.

Он всё знал. И тоже разговаривал с овощами, как с живыми. У нас появились свои любимчики. Я особенно любил одну морковку. Она росла не по дням, а по часам и к концу лета, правда, стала крупней всех в поле.

ГРИША РУСАНОВ

Прошло ещё две недели.

Жили мы в долине, как на необитаемом острове. Но это даже нравилось нам. Раз в неделю приезжал к нам из города на арбе почтальон Рахим, двенадцатилетний мальчик. Он привозил в долину газеты и письма. Мы с Партизаном сразу принимались читать газеты. Делали вырезки и вывешивали их на стене на нижней террасе. Там висела у нас карта. И мы, советуясь с Садыковым, передвигали красные флажки, которые обозначали линию фронта. Разные вести шли оттуда.

— Бьём фашистов, — радовались мы. — Смотри, опять наступаем! Скоро Харьков возьмём...

— Сколько же до Киева остаётся? — волновался Партизан.

Ребята подолгу стояли перед картой, отыскивали родные города. Страшный коварный враг напал на нас. Много ещё прольётся крови. Уже который месяц бьются защитники Севастополя. А теперь в каждой газете пишут о Сталинграде...

Однажды почтальон Рахим привёз мне письмо от Гали. Она писала с дороги, что едет с санитарным поездом на запад. Мне хотелось ответить ей... Но адреса она мне не давала. И, наверное, потому и Галя и Коканд — всё казалось мне здесь таким далёким. Как будто уже сто лет живём мы тут. И никто не найдёт нас в этой долине, никто не придёт сюда...

И вот однажды мы возвращались с Зорькой с поля: несли в корзине листья для осликов — они вместе с нами жили в долине — и остановились возле дома.

У террасы стоял спиной к нам незнакомый человек и разговаривал с Осипом Петровичем. Незнакомый был очень длинный и худой.

— Кто такой? Откуда такая каланча явилась? — шёпотом сказала Зорька.

Приезжий был в широкополой войлочной шляпе грибом, в брезентовой куртке и брезентовых сапогах. Из Коканда он, что ли, к нам прибыл? Мы с Зорькой поставили корзину на землю и стали слушать, о чём длинный говорит с Осипом Петровичем.

— Одну бригаду ребят, — говорил он, — надо обязательно выделить для надзора за водой. Пусть ребята следят за арыками. Это обязательно. Самых дельных надо к воде поставить.

— У нас все дельные! — улыбнулся Осип Петрович.

— Это хорошо, — ответил приезжий. — Ну, а одного, самого дельного, я хочу выпросить себе на гору.

«О чём это он говорит?» — удивился я. Его голос показался мне знакомым. А человек посмотрел на гору. Как раз в ту сторону, где по ночам светился огонёк. «Вот оно что! Значит, водный техник приехал. Интересно!» Тут приезжий обернулся. Я увидел узкое загорелое лицо с длинным носом, совсем ещё молодое, и крикнул:

— Гриша! Русанов!

— Семёнов! — Он сгрёб меня в охапку.

Осип Петрович и Зорька смотрели на нас и улыбались. Гриша смеялся. А я торопился, рассказывал, как

отстал тогда на сортировочной станции от школьного эшелона. Говорил ему про санитарный поезд, который отрезал наш состав. Спрашивал Гришу, куда увезли наших ребят. Ведь высокий приежний был мой прежний пионервожатый, с которым я выехал из Ленинграда!..

— Ты с нашей школой, с нашими ленинградскими ребятами в долину приехал? — спрашивал я.

— Я сам сейчас не знаю, где они, — ответил Гриша. — Я довёз школу до Алма-Аты, а потом где только не был... Полгода на фронте сражался. Ранен был. Лежал в госпитале у вас в Коканде. Теперь получил отпуск и вот решил во время отпуска поработать в горах. Ну и встреча! А ты знаешь, сколько хлопот мне задал? Куда только я запросы ни посылал, где только ни справлялся!..

Мы с Гришей не могли опомниться. Вот так встреча!

— А мама твоя где? — спросил он меня.

Я отвернулся. Гриша хорошо знал маму. Она часто приходила в школу.

— Мама у нашего Юльки герой, — вмешался Осип Петрович. — Она в партизанах. Скоро мы с ней связь установим... А Юлька тем временем здесь трудовыми подвигами отличится...

Гриша обнял меня за плечи. Ему было жалко меня.

— Хочешь, возьму тебя в помощники? Будешь жить со мной на горе.

Мы оба стали просить Осипа Петровича отпустить меня на гору. Гриша говорил, что без помощника ему не обойтись, что за этим он сюда приехал. Осип Петрович сперва предлагал в помощники мальчика постарше. Наконец мы уговорили его. Тут Гриша свистнул, и из-за дома вышел ослик, вроде конька-горбунка, ростом чуть выше овчарки, светло-серый, с чёрным пятном на лбу. Ослик толкнул Зорьку, она испугалась, замахала на него веткой, а ослик потянулся мордой и сорвал с ветки листок. Зорька вскрикнула. Мы засмеялись. Я оттащил ослика за уши от Зорьки.

— Собирайся скорей, — сказал Гриша. — Мне спешить надо, я своё хозяйство надолго оставлять не могу.

Я сбегал на террасу, засунул в вещевой мешок трусы, майку, сунул ложку, зубную щётку, полотенце. Всё, кажется?

Прощаясь, Осип Петрович велел мне через неделю-другую обязательно возвращаться.

— Я сам его вам доставлю! — сказал Гриша.

Осип Петрович обнял меня. Мы с Зорькой долго трясли друг другу руки.

— Достаточно! — сказал Гриша и велел мне садиться на осла.

Я сел и засмеялся: будто на игрушечную деревянную лошадку уселся. Хотел даже слезть, а Гриша говорит:

— Ну-ка, подвинься! Я сзади сяду!

— Что ты! Спина у него сломается! — испугался я.

— Не беспокойся, это выючный осёл. У такой породы спина прочнее, чем у лошади.

И Гриша уселся позади меня, хлопнул ладонью по животу осла. Осёл, как заводной, тронулся — мелко-мелко начал перебирать ногами. Мы отъехали шагов двести и только тогда я понял, что в самом деле уезжаю.

— Постой! — попросил я Гришу. — Я сейчас!

Я спрыгнул с осла, вернулся к террасе, где всё ещё стоял Осип Петрович, глядя мне вслед.

— Осип Петрович!

— Ты что же вернулся? — улыбнулся он. — Раздумал?

Я замялся.

— Садыкову от меня привет! — попросил я.

— Охотно!

— Вере Михайловне... И Партизану с Иргашой.

В тот день Иргашой и Партизан ушли на самый дальний участок полоть кукурузу... Жаль! Я написал им прощальную записку: «Привет от путешественни-

ка: Ваш благородный друг на время покидает вас, но будет хранить в своем сердце. Юлька».

Для такого необыкновенного случая требовался красивый, а не будничныи язык. Я отдал записку Осипу Петровичу и побежал к Грише, который ждал меня на повороте. Опять сел на ослика, ударил его босыми пятками, как шпорами, и мы тронулись.

В ПУТИ

Осёл бежал быстро, но мне всё время хотелось слезть с него. Он был такой маленький, что Гриша ступнями ног мог доставать до земли, и я боялся — вдруг у него спина сломается. Но и Гриша жалел его, и мы стали поочерёдно слезать с осла и бежать рядом.

Выехали из джугаровых зарослей, миновали помидорные гряды и попали на участки, где я ещё не бывал. Тут лежали прямо на земле крупные, будто осыпавшиеся жёлтые цветы и ветвились плети с листьями, похожими на лопухи. Это цвели кабачки и тыквы.

Всю дорогу мы говорили про Ленинград, про воздушные налёты. Вспоминали наш отъезд. Говорили про школу, про ребят, вспоминали учителей. Я заметил, что про маму Гриша нарочно старался не говорить, — он боялся, что опять я расстроюсь. Незаметно мы подъехали к подножию серой горы.

— Теперь мы почти дома! — сказал Гриша.

Тропинка круто поднималась в гору. Она вилась между утёсами и развороченными каменными глыбами.

Мы оба слезли с ослика и пошли по тропке рядом с ним. Мне не терпелось увидеть Гришин дом. Я обогнал Гришу, вскарабкался высоко на гору, оглянулся. И до чего же мне понравилась наша долина!

Поле, на котором работали ребята, было похоже сверху на громадную шахматную доску из разноцветных квадратов — зелёных, жёлтых, бурых, а между ними всюду проходили коричневые полосы — арыки.

— Красота какая! — крикнул я Грише.

— Я уже досыта насмотрелся на эту красоту, — сказал он. — Правда, долина хорошая. Вот мы её с тобой вдвоём поливать будем.

Неужели два человека могут полить такую громадную долину? Мне не верилось.

— Мы только вдвоём работать будем? — удивился я. — Откуда воды столько наберём? Как она во все арыки попадёт?

— Налево смотри, — сказал, поравнявшись со мной, Гриша. — Главный арык видишь?

Из-за кустарников виднелся глубокий пустой канал. Он был вроде жёлоба, высеченного в скале. Этот жёлоб спускался в долину и ветвился там арыками между помидорными, джугаровыми, свекольными полями.

— Сейчас всё узнаешь! — сказал Гриша. — Пошли!

За нами по крутой тропке двигался ослик. Камни, песок летели вниз из-под ног и с шумом осыпались вниз, к подошве горы. Я шёл и всё оглядывался. Какая странная и красивая делается земля, когда на неё смотришь сверху, с горы! Всё меньше вокруг оставалось полей, утёсов, а неба становилось всё больше. словно голубыми заливами оно вдавалось в горные перевалы, большим клином висело над долиной. И вдруг я почувствовал, будто в ушах у меня зашумели волны, засвистел ветер. Я вспомнил большую розовую раковину, которая стояла у нас в Ленинграде на письменном столе. Она точно так шумела, когда приставишь её к уху. А тропинка уже выводила нас на каменную площадку, ровную и круглую, как тарелка.

На краю этой площадки стоял Гришин дом из камней, с маленькой дверью и маленьким окном.

Так вот откуда светился по ночам огонёк!

— Вот где мы с тобой жить будем! Нравится? — спросил меня Гриша.

Ну как мог не нравиться такой необыкновенный дом!



Тропинка вилась между утёсами и развороченными каменными глыбами.

ГОЛОВА

В ушах у меня продолжало шуметь. Я подошёл к краю площадки. Она круто обрывалась вниз, к неглубокому ущелью, по которому текла такая бурная река, что вместо воды катилась одна пена. Посредине реки возвышалось странное сооружение: стояли косые короткие плетни. Возле плетней была вырыта бухта. От бухты отходил в сторону канал. А канал был словно заперт железными воротами.

— Вот это и есть голова арыка, — сказал мне Гриша. — Постой, что-то неладно... Так и есть! Фашины прорвало. Вниз пошли!

По реке плыли прутья, сучки. Я видел, что река размывает крайний плетень.

Мы спустились к реке. Гриша снял сапоги, закатал ботинки, вошёл в воду.

— Ломай ветки! — крикнул он. — Давай их сюда!

Я начал ломать зелёный кустарник и бросать ветки Грише. Он быстро совал их в плетень, будто штопал его. Наконец мы починили дыру, и Гриша вылез на берег.

— Эти плетни — фашины, — сказал он, — дадут нам с тобой жару. Только и следи за ними. Вечно река размывает их. Видишь, какая она бешеная? А фашины должны быть в исправности. Они, как узды на ретивом коне, бег замедляют и воду в реке скапливают.

Я приставал к Грише с расспросами.

— Канал этот, я уже говорил тебе, называют головой арыка, — объяснял Гриша. — По нему вода из реки в долину стекает. А ворота...

Тут Гриша взглянул на небо. Солнце садилось за гору.

— Сейчас ты поймёшь, для чего они поставлены. Пора нам долину поливать!

Грядка камней отгораживала от реки бухту. Ворота канала, как лодка к причалу, были привязаны канатом к столбу.

— За работу, помощничек! — сказал Гриша.

Мы принялись разбирать каменную гряду, выбрасывать камни на берег, и от этого вода поднималась в бухте всё выше.

Гриша отвязал канат от столба. Вода начала открывать ворота, распахнула их, хлынула в арык и потекла по жёлобу в долину.

— Понял теперь, зачем ворота? — спросил Гриша. — Это шлюз маленький.

— Замечательный шлюз! Мировой!

— Что ты, он уже сто лет тут стоит! Допотопный. Эту долину перед войной решили больше не засеивать. Тут хотели настоящую плотину строить. Война проклятая помешала... А сейчас пришлось и за эту долину взяться! Сам знаешь, сколько народу теперь Узбекистан кормит, сколько сюда съехалось. Да и фронту отсюда эшелонами продовольствие отправляют. Вот и пригодился наш старик канал!

А мне допотопный старик канал нравился!

Мы постояли, посмотрели, как бежала пенистая вода и превращалась в канале в спокойную прозрачную. А потом поднялись на площадку, к дому.

За домом была бахча. Там лежали на земле ярко-жёлтые, зелёные и полосатые дыни. Кожура у всех была покрыта серыми жилками, будто на дыни надели плетёные сумки-авоськи.

— Проголодался? — спросил Гриша. — Сейчас ужинать будем.

Он выбрал жёлтую дыню, у которой стебелёк весь высох и лежал на земле, как верёвочка. Разрезал её пополам. Дыня была сладкая, душистая и такая мягкая, как сливочное масло. Мы уселись на порог дома и начали есть дыню ложками и закусывали кукурузными лепёшками.

Только теперь я почувствовал, что очень устал. Ложка дрожала у меня в руках, а лепёшку я ломал с таким трудом, будто это была целая буханка.

Я вспомнил про наш лагерь. Что там делается?

Встал, подошёл к краю площадки, поглядел вниз и крикнул:

— Гриша, мы правда вдвоём всю долину полили!

Коричневая сетка, которая покрывала долину, превратилась в серебристую. Это всюду, по всем арыкам, текла вода. Гриша подошёл ко мне, постоял и сказал:

— Спать пора! Довольно любоваться. Завтра в четыре утра вставать надо — закрывать ворота. Спать иди.

Я улёгся в доме на кошме, закрыл глаза, а передо мной всё стояли фашины, железные ворота... Всю ночь напролёт, будто наяву, я таскал камни, ломал ветки. Под утро я несколько раз вскакивал с постели — боялся проспать. Здесь огороды поливают только ночью, а каждое утро надо закрывать ворота — от дневного полива урожай можно испортить.

НА ГОРЕ

Всё-таки утром Гриша сам разбудил меня, когда солнце только вылезло из-за серого утёса. В долине была ещё ночь, а горы были синие.

Жёлто-красное солнце перед рассветом было похоже на луну или громадный электрический фонарь. Но оно на глазах светлело, делалось золотым... И вдруг в долине и на горе сразу наступило солнечное утро.

Так я увидел первый рассвет в горах. Много раз потом я любовался им, а мне всегда казалось, что я вижу его впервые — такой он необыкновенный.

Нравилась мне жизнь на горе.

Мы вставали раньше солнца. Вместо чая Гриша срывал на бахче холодную дыню, покрытую бисеринками росы. Он резал её поперёк круглыми, как баранки, дольками. Мы заедали дыню лепёшками и после завтрака принимались за работу.

Сперва мы валили в бухту камни, отгораживая канал от реки. Потом Гриша закрывал ворота, привя-

зывал канаты к столбам, а меня посылал вниз проверить берега арыка.

С кетменем я спускался по берегу арыка до самого подножия горы.

Я любил эти утренние путешествия. Жёлоб — головной арык — был вырублен в камнях, проходил через песчаник. Я шёл вдоль берега, перепрыгивал с камня на камень, пробирался по краю ущелья, держась за ветки кустарников, останавливался возле маленьких водопадов и ключей.

Везде ли целы берега?

Иногда вода размывала песчаные края канала. Я закладывал их камнями. Иногда камень скатывался с горы и загораживал путь воде. Если обваливались большие камни, я звал на помощь Гришу.

На мой крик часто отзывались собаки, которые охраняли колхозные стада. Овцы паслись на соседних горах. Воздух тут такой прозрачный, что видно на далёкое расстояние. Я смотрел на стада, которые передвигались медленно, будто серые тучи, по зелёным склонам горы. Иногда я видел, как собаки, почуяв чужого, стремглав катились под гору, словно чёрные камни срывались с вершин.

Хотя от соседней горы нас отделяла глубокая пропасть, мне всегда становилось страшно. Гриша предупреждал меня, что пастушечьи собаки тут невероятно злые, даже хозяин не может унять их, когда к стаду приближается незнакомый человек.

Во время моих путешествий я иногда садился отдохнуть на валун. Внизу, в долине, работали на полях ребята, и мне казалось, я узнаю среди них Зорьку, Иргашой.

Скучают они обо мне? А Славка, наверное, завидует. И правда, я живу выше всех. Всё вижу. А ребятам только наш огонёк в окне виден да костёр по вечерам, когда мы с Гришей готовим ужин.

О чём только не говорим мы за ужином!

— А вдруг, Гриша, вода ночью прорвёт все фашины и ворота унесёт? Что мы делать будем?

— Не унесёт! Ты разве не знаешь, что я здешний, родом из Ферганы? — говорил Гриша. — У меня отец был водяной техник. Я с малых лет с ним по горам бродил, арыки чинил... И ворота ставил.

Оказалось, у нас с Гришей была похожая жизнь. Его отца тоже убили на белофинской войне. А мама ещё раньше умерла. Мой Гриша был круглый сирота. Он всё умел делать сам, давно жил самостоятельно. Он научил меня стряпать по-узбекски. На камнях, возле дома, стоял у нас чёрный казан. В казане, бывало, шипит бараний жир, жарятся кусочки кукурузного теста с морковью. Я подбрасываю под казан хворост, прошлогоднюю траву, и поэтому от дыма пахнет травами и цветами. Огонь трещит, заглатывает сучки, а я слушаю Гришины рассказы.

Он рассказывает про войну, про встречи с ребятами, партизанами, про бои и своё ранение. Рассказывает, как партизаны помогли Грише с его отрядом отбить у немцев товарный эшелон, в котором фашисты увозили наших жителей в Германию.

Иногда мы молча сидели перед костром. Каждый думал про своё. А что, если я всё же на фронт попаду? И мне казалось, что гора наша преобразается... Немецкие патрули бродят между утесами. Я с автоматом пробираюсь через линию фронта к партизанам. Захватываю в плен немецкого офицера. Привожу его в лес, в партизанский штаб. Там встречаюсь с мамой. Мы становимся отважными разведчиками, получаем ордена. И возвращаемся с орденами в Ленинград.

Гриша сидел, задумавшись, и глядел в огонь.

— Уйдём, Гриша, на войну! — просил я. — Уйдём!

— Я и сам не понимаю, почему они меня в военкомат не вызовут. И чего они на моё заявление не отвечают! Плечо давно зажило. Необходимо мне на фронт. А тебе, дружище, рано: всё равно назад отправят. Лучше овощи поливай.

— Не понимаешь ты меня, Гриша! — говорил я.

Но рассказать, как однажды я убежал из детдома, не решался.

И опять молча смотрел в огонь и прислушивался. На соседней горе начинали лаять собаки — почему-то они всегда беспокоились по ночам.

П Е Т У Х

Я жил с Гришей уже вторую неделю, а в долину, в наш лагерь, ни разу не спускался. Вместо меня туда съездил Гриша и договорился с Осипом Петровичем оставить меня на горе. Осип Петрович дал разрешение и обещал прийти с ребятами повидать меня, как только пройдёт горячая пора — сейчас в долине окучивали овощи. У нас с Гришей тоже свободного времени не оставалось. Из городка Шураба, который находился за горой, приехал к Грише его начальник, старший техник, и велел сделать съёмку горы, план её начертить.

— Решили всё же новую плотину строить, — объяснил он. — Не обойдёмся без неё... Соседнюю долину тоже отсюда поливать будем. Тем более у нас такие помощники налицо! — подмигнул он мне.

Техник уехал, а мы с Гришей целыми днями стали лазить по горам. Я держал высокую жёлтую палку, будто градусник с делениями. Гриша с другой скалы смотрел в подзорную трубу на треножнике — нивелир — и делал вычисления.

Один раз утром, когда мы ещё не кончили съёмку, Гриша послал меня проверить берег арыка. Возвратиться я решил новым путём. Мне пришлось пробираться зарослями ежевики, идти по каким-то старым ступеням, вырубленным в камнях. Чёрные крупные ягоды висели на ветках. Я пробовал их. Они были сочные, сладкие, будто сахаром посыпанные, но с каким-то привкусом.

За то время, что я прожил на горе, я перепробовал много диких ягод, здешнюю дикую сливу, которая

росла на берегу реки, нашёл два деревца дикой груши и даже яблоньку с мелкими, вроде китайских, яблочками.

Когда-то в Ленинграде я часто мечтал пожить в плодовом саду. «Вот бы райское житьё было!» — думал я. Но со вчерашнего дня и дыни и ежевика — всё стало казаться мне не то прокисшим, не то проржавевшим. Наверное, я объелся ими.

Я выплюнул ежевику. Вдруг соседний куст шелохнулся. Под веткой стоял петух и жадно клевал ягоды. Даже меня не замечал. Петух был крупный, с золотистой спиной, чёрно-зелёной грудью и таким же хвостом. Я подкрался к нему, схватил под оба крыла. Петух забил крыльями, заклекотал. Потом замолчал и только вертел головой с красным гребнем.

— Съедем тебя сейчас! — сказал я петуху. — Изжарим!

У меня даже слюнки потекли. Давно мы с Гришей мяса не ели.

Гришу дома я не застал. Мне хотелось до его прихода приготовить куриный обед, но я не знал, как за дело взяться. Вынул из кармана верёвку, привязал петуха за ногу к алычёвому дереву. Петух спокойно, как собака на цепи, стал ходить около дерева. Но, как ни хотелось мне куриного обеда, я понял, что зарезать петуха не отважусь.

— Юлька, — спросил меня Гриша, вернувшись, — откуда у нас этот красавец?

Я рассказал Грише, где поймал петуха, как хотел приготовить обед. Но Гриша тоже был жалостливый человек.

— Знаешь что? — сказал он мне. — Это, видно, домашний петух. Наверное, из горного кишлака к нам пришёл, заблудился. Пусть поживёт с нами.

— Пускай! — обрадовался я. — С ним веселее будет!

— А мяса я тебе достану. Сейчас мне в Шураб нужно отправляться. Съезжу туда на осле, там в конторе тебя своим помощником оформлю. Привезу нам

сухой паёк — лепёшек, мяса. А тебе здесь с петухом не так скучно будет.

— А когда ты вернёшься? — заинтересовался я.

— К вечеру. Одного тебя ночевать не оставлю. А ты проверь фашины. Булькает где-то... И за воротами приглядывай. Вот день и пройдёт незаметно. Вы тут с петухом полными хозяевами останетесь. Ясно?

— Ясно.

И Гриша вскоре отправился.

ХОЗЯЕВА

Гриша говорил, что до Шураба от нас было километров двадцать. Значит, если считать туда и обратно, получится сорок. Ничего себе!

Я взял петуха на руки и долго следил, как ослик с Гришей на спине мелькал среди утёсов. Наконец они скрылись за серым выступом, и я сразу почувствовал, что остался на горе один.

Наверное, от этого горы показались мне выше, долина — просторнее. Как воздушный океан, синее небо поднималось высоко-высоко над головой, и мне казалось, что вместе с горой я сам плыву по воздушному океану.

Я погладил петуха по спине, поднял его выше, чтобы и он полюбовался синим простором. Потом снова привязал петуха за ногу к дереву. Принёс горсть крупы. Хотел приучить его клевать с ладони, но вспомнил про фашины и побежал к реке.

Хотя река была неглубокая, доходила мне до колен, добраться до фашин было нелегко. Вода была ледяная, бурлила воронками, била меня камнями, старалась свалить с ног. Я нашёл место, где булькает, нашарил под водой дыру в плетне и стал собирать со дна камни, закладывая дыру.

Работал я долго. А когда починил и хотел вылезть из реки, мне послышалось сквозь шум, будто кто-то позвал меня. Или это петух прокричал? Может, он за-

метил кого-нибудь в горах? Я ухватился обеими руками за фашину и поглядел наверх, на наш дом. Нет, никого не видно. А всё-таки мне страшно стало. Не шутка это. Тут ведь граница недалеко. А около границ чего только не случается... Вдруг ко мне шпион или контрабандист явится!

«И зачем только Гриша меня одного оставил! — с досадой подумал я. — Возвращался бы он скорее... Сказал, к вечеру вернусь, а сейчас всего три часа, пожалуй...»

Ноги у меня совсем заledenели. Я выбрался на берег. Побегал вдоль реки, чтобы ноги отошли, и стал взбираться к дому. Перед домом по-прежнему ходил на верёвке петух. Но страх мой не проходил.

Внизу, в долине, на крыше лагеря развевался красный флаг. Что там случилось? Зачем ребята флаг вывесили? И мне очень захотелось вниз, в долину. «Спуститься бы к ним!» — подумал я. Мне казалось, что я в полчаса добегу туда. Кстати и про флаг узнаю. А через час, ну через полтора, ещё до прихода Гриши, вернусь назад.

Я быстро сбегал на бахчу, сорвал самую спелую, в трещинах, дыню. Захлопнул дверь и просунул вместо засова в дверную ручку кетмень, как иногда мы делали с Гришей, когда уходили.

Петух беспокойно ходил на привязи, клекотал сердито и глядел на меня, будто понимал мои мысли. Я постоял немного в раздумье. Потом вынул из кармана кусок от того красного мелка, который отдал Иргашой, и на двери дома написал очень крупно:

«Ушёл к ребятам. Скоро вернусь».

Подпрыгивая от радости, я мчался по тропинке вниз.

В ГОСТЯХ

Прошло, наверное, не меньше часа, когда я, весь красный и запыхавшийся, прибежал к лагерю. Перед домом, прямо на земле и на камнях, сидели ребята с пналами. Я попал к обеду.

— Юлька! — хором закричали ребята. — Юлька! — и бросились ко мне.

Меня хватили за руки, за плечи. Кто-то сзади обнимал меня за шею. Я стоял среди ребят, улыбался, вытирал пот с лица. Меня спрашивали, как я живу на горе, почему не приходил ни разу. Сунули мне в руки пиалу с супом и ложкой. «Ешь, Юлька!» — угощали меня. Я хлебнул ложку мясного супа. «Не могу, пить дайте!» — сказал я и отдал пиалу мальчику в полосатой майке. Да ведь это Гоша Остров! Он совсем другой сделался — загорелый, толстый. Да и все ребята на себя не похожи. А Партизан словно меньше стал в одних трусиках, без френча своего.

Кто-то закрыл мне сзади глаза руками. Ребята засмеялись. Я схватил руку. Это была Зорька. С ней Иргашой, которая одна не изменилась и по-прежнему была в длинном узбекском платье и тюбетейке. У Зорьки щёки были такие же красные, как её новая майка, а волосы белые, как бумага.

— Ты поседела вся! — сказал я. — Состарилась!

Зорька засмеялась и спросила:

— А кому ты дыню принёс? — Быстро подняла её с земли, понюхала и крикнула: — Партизан, давай перочинный ножик! Дыня розой пахнет.

У Партизана ножа не оказалось. Зорька с дыней убежала к тёте Фене, а меня ребята повели смотреть свекольное поле. Я прямо ахнул, когда увидал гряды. За две недели ботва выросла в локоть, а красные хвостики рассады превратились в свёклы с кулак толщиной. Огород наш стал очень большой — все пустыри ребята без меня засадили. Но какие это были овощи, я не мог сразу угадать. Из земли торчали веточки вроде мышиноного гороха. Так растёт узбекская крупа маш. На тонких ножках сидели листья, как блюдца. Это фасоль здешняя. И всё так густо разрослось!

— Это от моего полива так всё разрастается! — похвастал я. — Приходите смотреть, какая у нас река, фашины, какие ворота.

Ребята обещали отпроситься у Осипа Петровича

и прийти ко мне в следующее воскресенье. Мы всей гурьбой вернулись к дому. Зорька разрешила дыню на кусочки. Ребятам досталось по ломтику. Мне тоже Зорька дала кусок. Ребята ели и расхваливали дыню: тут они ещё не поспели. Вдруг откуда-то явился Славка. Он так загорел, что родинка пропала у него со щёки.

— Угощаетесь? — спросил он. — А мне не полагается?

Я протянул Славке свой ломтик. Он проглотил его.

— Маловато! — сказал он. — Что ж только одну дыню притащил? Жадничаешь?

Ребята засмеялись, я покраснел от досады.

— Не жадничаю! У меня около дома целая бахча с дынями.

— Вот и притащил бы всю бахчу! — не унимался Славка.

— Бестолковый! — рассердился я. — Говорю тебе, я спешил. Знаешь, сколько у меня работы? Перемычку ставить, фашины чинить, ворота открывать на канале, воду вам в долину пускать. А сегодня ещё Гриша в Шураб уехал, я один управлялся...

— И у нас работы много, — вмешалась Зорька. — Видишь флаг на крыше? Его вчера вывесили. Вчера у нас делегаты от шурабских ребят были и нам этот флаг отдали. Мы с ними соревнуемся и уже обогнали их: первыми овощи сняли.

— А ты с кем соревнуешься? — ехидно спросил Славка. — Сам с собой? Или с Гришей своим?.. Кто друг друга перерастёт, ты или начальник?

Ребята смеялись. Я обиделся. Как они меня встретили, а явился Славка — испортил всё!

— Славка, — сказала Иргашой, — ты в Узбекистане живёшь! А мы гостеприимные. Зачем ты Юльку расстраиваешь? Он наш гость.

— Нежности какие! — заорал Славка.

— Ты, Юлька, не обращай на него внимания! — вступился Партизан. — На него даже Садыков мах-

нул рукой. Сказал: «К нему надо принимать особые меры». Мало ли что Юлька ни с кем не соревнуется. Зато на гору не каждого пустят. Только проверенного.

— Он проверенный! — издевался Славка.

— Конечно! — сказала Зорька. — Если он за воротами следить не будет, не пустит воду, вся наша долина засохнет. Всё пропадёт.

Я радовался, что они меня так горячо защищают. Значит, любят. Я ведь тоже по ним здорово соскучился!

— У нас к воде прежде самых старых узбеков приставляли, — сказала Иргашой. — Они воду делили. Их мирабами — водяными старостами — называли. Они важные, бородатые были. Им первым все кланялись.

— Он мираб? — расхохотался Славка.

— А то кто же? — сказал я.

— А мирабское удостоверение есть?

— Есть! Я даже... зарплату получаю! Понял?

Я никак не ожидал, что это произведёт на всех такое впечатление. Славка с изумлением смотрел на меня.

— Сколько? — спросил он присмирив.

Я замялся. Ребята смотрели на меня с таким интересом, что мне стало неловко. Не надо было мне врать!

— Ладно, не отниму! Говори, сколько? — приставал Славка.

— Настоящую зарплату? — сказала Зорька и даже зажмурилась от удовольствия.

В это время из дома вышел Осип Петрович. Он уже снял перевязь с руки, видно, рана зажила. Я обрадовался и бросился к нему. Осип Петрович тоже очень обрадовался, обнял меня и прижал к себе.

— Юлька! — ласково сказал он. — Я по тебе соскучился! Ты совсем к нам пришёл? Или только переночуешь у нас?

И тут я спохватился. Сколько же я тут проторчал?

— Нет, я сейчас уйду. Гриша в Шураб уехал. Может, он задержится, мне самому воду придётся пускать.

— А там сейчас никого нет? — спросил Осип Петрович.

Мне показалось, что он неодобрительно посмотрел на меня.

— Никого!

— Жаль, что на короткое время появился, — сказал Осип Петрович. — Как там работаете, отшельники?

— Хорошо, Осип Петрович! Приходите к нам. Мы для вас дыни на бахче растим.

— Непременно придём! Я сам к тебе собирался. В воскресенье жди нас обязательно.

— А письмо мне не пришло? — спросил я.

— Пока ещё нет, Юлька, — сказал Осип Петрович. — Как получим, сейчас же тебе сигнал дадим...

Ребята с Осипом Петровичем пошли провожать меня. Я боялся, что по дороге кто-нибудь опять заговорит о моей зарплате. Осип Петрович сразу догадается, что я прихвастнул.

Но всё обошлось благополучно. Осип Петрович так ничего и не узнал. Мы шли вдоль гряд. Ребята кричали хором:

— Юлька, это моя гряда! У нас теперь у каждого по своей гряде. Смотри, какая хорошая.

— Мы уже два раза овощи в Коканд возили, раненым отправляли. Скоро ещё повезём!

У поворота мы расстались, и тут я припустился бежать.

БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ

Солнце было совсем низко. Наступало то время, когда мы с Гришей открывали ворота. Я бежал не останавливаясь мимо полей с кукурузой, с тыквами, с помидорами, но гора словно отодвигалась от меня.

Неужели Гриша вернулся, ждёт меня? Может, один там камни на берег выкидывает...

Солнце стало спускаться за гору. Я знал, что темнота тут наступает сразу.

Только скрылось солнце, и долина вся почернела. На моё счастье, тут же вышла луна, круглая, белая, как облако, и всё кругом начало светлеть. Серебристо-молочными отблесками светились скалы. Будто серебряной пылью покрылись поля, дорога. Воздух и тот стал серебряный.

«Ночь наступила! — испугался я. — В это время уже вся долина бывала водой залита. Значит, ещё не пришёл Гриша. А если пришёл и сам воду пускает, ещё хуже».

Когда я добрался до подножия горы — увидел, что дно главного арыка пустое. Может, без меня на горе случилось несчастье? А я всему виной буду...

От беспокойства я даже страха не чувствовал, забыл, что один ночью иду по горе. А вдруг обвал в горах случился и жёлоб зачурдил?

Я задыхался, сердце билось часто. Но я, почти не отдыхая, поднимался в гору по тропке вверх.

Наконец-то я дома!

Огляделся — Гриши нет. На двери по-прежнему торчит засов. Я как бешеный помчался к плотине, влез в воду, стал выбрасывать камни из бухты. Ух, как я торопился!.. Вылез на берег, раскрыл ворота, привязал их к столбу.

И сел на землю. В груди у меня иголками колело, я не мог отдышаться. А отдышавшись, огляделся. Хоть и светло как днем от луны, а всё-таки сейчас ночь. Неужели Гриша не вернётся? И тут напал на меня такой страх, что волосы на голове зашевелились. Правда зашевелились.

Я побежал к дому, но войти не решился. Сел на порог и глаза поднять боюсь. Передо мной вместо знакомого розового утёса — лохматая голова с одним рогом. Не дерево рядом растёт, а птица на гору прилетела с огромными когтями... Сейчас набросится на

меня. А вместо реки тигры в ущелье ревут. Я прижал руки к груди. Ну, думаю, сейчас сердце от страха разорвётся!

Прижался я к двери дома. Лунный свет меня всего залил, прямо в глаза луна светит. Нет, лучше уйду отсюда, в тень спрячусь. Тут меня слишком хорошо видно. Встал я... И вижу—внизу по дороге, которая ведёт в Шураб, залитый лунным светом, торопится ослик. А рядом идёт Гриша. Вот когда я возликовал! Через десять минут Гриша с осликом, нагруженным мешками, въезжал на площадку.

— Что ж так поздно! — бросился я к нему.

— Ага, струсил? — сказал Гриша. — А ещё на фронт собираешься!

От радости я повис на шее у Гриши.

— Как ты думаешь, что это за голова? — показывал я на утёс. — А что это за дерево? Это же хищная птица из доисторических времён. Тут тигры в долине ревут!

— Ты думаешь, я не торопился? Знал, что ты от страха помираешь, — объяснял Гриша. — Меня в конторе в Шурабе задержали. Я тебя, как настоящего работника, там оформил. Ты теперь зарплату будешь получать. И паёк сухой на твою долю выдали.

Он вынул бумажник, достал оттуда серенькую хрустящую бумажку и протянул её мне.

— Что это? — спросил я.

— Твоя зарплата.

При лунном свете я прочёл на бумажке крупные буквы: «Пять червонцев». Я бросился опять к Грише на шею. Он схватил меня под мышки, покрутил в воздухе и сказал:

— Ладно, пользуйся моей добротой!

Мы стали распаковывать продукты, которые Гриша привёз в двух мешках на ослике из Шураба. Тут были зелёный узбекский чай, хлопковое масло в бутылках, рис, вяленая баранина, лепёшки, изюм. Я вынимал продукты, уносил их в дом, ставил на полки, вешал на гвозди в маленьких сених.

Утром я всё же покаялся Грише, сказал, что был в долине. Но Гриша не очень ругал меня.

— Хорошо, что тигры тебя по дороге не съели и вовремя долину полил, — пошутил он.

Но я работал старательнее обычного. Я проверил берега канала и, когда спускался к подножию горы, решил отдохнуть на своём любимом валуне.

В кармане у меня лежали мои деньги. При Грише я стеснялся разглядеть их как следует. Я вынул их, прочитал: «Пять червонцев». Посмотрел на свет. Радужные какие! Внизу была мелкая бисерная надпись:

«Банковские билеты обеспечиваются золотом, драгоценными металлами и прочими активами государственного банка».

У меня и до этого бывали деньги. Мама иногда давала, дядя Женя прислал как-то. В Ленинграде даже копилка осталась — глиняный домик с собакой. В ней, кажется, несколько рублей было. Собирался беговые коньки на них купить.

Но теперь мне казалось, что все мои прежние деньги были как будто игрушечные. А вот эти — настоящие.

Пусть теперь Славка придёт! «Бездельники!» За безделье зарплату не выдают.

Я встал с камня, повернулся в ту сторону, где лежал внизу лагерь, и помахал своей ассигнацией. «И как это Гриша мне зарплату выхлопотал? А может, из своих дал?» — испугался я. Но мне так хотелось верить, что эти деньги заработанные, что я тут же забыл свои сомнения. Сложил их, спрятал в карман. Может, я их ещё на новый самолёт или танк внесу!

Г О Н Е Ц

Прошло ещё несколько дней.

Мы с Гришей были очень заняты — кончали съёмку горы. — но про лагерь часто вспоминали, всё жда-

ли оттуда гостей. Выбрали самую крупную дыню и оставили её дозревать на бахче к приходу гостей, но они всё не являлись.

«Забыли, что ли, про нас?» — думал я с обидой.

Как-то утром я забежал на бахчу и увидел, что дыня моя треснула — переспела. Хотел сорвать её, да раздумал. Решил пока оставить. Если ребята завтра не придут, я отпущусь у Гриши, сам отнесу её в лагерь.

В этот день Гриша опять собрался уезжать в Шураб: ему нужно было отвезти нашу съёмку — чертёж горы, получить газеты, зайти в военкомат.

И Гриша уехал.

Я проводил его, спустился к воротам, потуже привязал к столбу канат, поглядел на фашины, привалил серый булыжник у входа в главный арык, где вода сочилась, и вернулся домой.

«Чем бы мне заняться? Скучно сегодня!» — подумал я и стал разглядывать лиловую чёрточку горизонта. Она ползла по горам, по долине... Вот впереди пыльная серая полоска. «Это, должно быть, Коканд», — решил я. И сразу вспомнил маму, военкомат.

Увижу ли я когда-нибудь маму? Вернусь ли домой? Или мамы нет больше, а наш дом немцы разбомбили? И, может, ещё год пройдёт, а я всё буду жить в Коканде и ничего не буду знать о маме, о дяде Жене... Лето кончится. Осень настанет. Зима подойдёт. Где я буду? Я всегда думал — всё будет хорошо. А вдруг окажется по-другому?

Я посмотрел на долину. Почему-то сегодня на поле не было ребят. И опять полезли мне в голову унылые мысли. Где сейчас мама? Я вот сижу на валуне, у края горы, а она? И вдруг я заметил внизу, в долине, кто-то идёт по дороге, а кто — разобрать не мог. А человек подошёл к подножию горы и стал взбираться вверх. Я не отрывал глаз от него. А он то скрывался за утёсами, то снова показывался на тропке.

Прошло с полчаса, когда из-за поворота показа-



лась пилотка Вани. Партизан шёл ко мне! Ко мне в гости, на гору...

Я заплясал от радости.

— Партизан! — заопил я.

Ваня свистнул в ответ. Я побежал к нему навстречу. На краю площадки мы крепко обнялись и начали, как полагается друзьям, бороться. Повалились на землю. Потом встали и оглядели друг друга.

— Вот здорово, что ты ко мне пришёл! Сегодня Гриша уехал. Я полный хозяин. Сейчас я тебя как самого важного гостя приму.

Петух, глядя, как мы расшумелись, взлетел на крышу дома, стал махать крыльями и кукарекать.

— Это он приветствует тебя. Тоже рад гостю... — сказал я.

Рассказал, как нашёл петуха, сперва хотел зарезать, а потом сдружился с ним. Ване петух понравился:

— Солидный какой! У нас на Украине такие здоровенные водятся. Может, его с Украины привезли?

Я водил Ваню по площадке и показывал наше хозяйство. Ваня интересовался всем.

— Это что за штука? — показал он на ворота. — Зачем они?

— Я же рассказывал, что они вроде шлюза. Воду вам пускать... А это фашины... А это голова арыка. Верно, тут замечательно?

Когда мы обошли наше хозяйство, я привёл Ваню на бахчу, показал спелую дыню, которую оставлял для гостей. Партизан достал перочинный нож. И мы тут же стали лакомиться дыней.

— Нравится? — спросил я.

— Половина — сахар, половина — мёд! — важно ответил Ваня.

Так полагается в Узбекистане хвалить арбузы и дыни.

— А почему ты один пришёл? — спросил я Партизана, когда мы расправились с дыней.

— Меня Осип Петрович прислал. Он велел твоему Грише письмо передать...

Партизан вынул из кармана запечатанный конверт и показал его мне. Я немного обеспокоился. Что за письмо?

— Запечатанное. Видишь? — сказал Ваня.

— А про что в нём написано?

— Сам не знаю!

Тогда я окончательно разволновался.

— Ты, Партизан, знаешь!

— Не знаю!

— Дай честное ленинское!

— Зачем я тебе ленинское буду давать, если я так сказал, что не знаю! — начал Ваня.

Я встал с бахчи и пошёл к дому, не слушая, что ещё говорит Ваня. Неужели Осип Петрович получил письмо насчёт мамы? Плохое письмо? А что в нём написано, Партизан знает. Просто огорчать не хочет.

— Да я не знаю, Юлька! — повторил Ваня, идя за мной следом.

Мы подошли к дому. От радости моей следа

не осталось. Я зашёл в сени, взял ведро с цементом и стал разводить его водой — замешивать. Думаю, примусь сейчас замазывать трещины в бетонном фундаменте у ворот. Мы с Гришей уже начали эту работу. Хоть займусь чем-нибудь, а то разные мысли в голову лезут.

Ваня помог мне вынести тяжёлое ведро из сеней. Мы вместе спустились к голове арыка. Сперва Ваня сидел на берегу, глядел, как я закладываю цементом щели в фундаменте, потом закатал штаны и сам полез в воду. У него эта работа пошла ещё ловчей. Партизан был вообще человек на все руки.

Но всё-таки, что за письмо он принёс Грише?

Долго мы возились с фундаментом, продрогли в ледяной воде, у Вани даже губы посинели. Но работу кончили и проголодались. В казане у меня оставалась кукурузная каша от обеда. Мы развели огонь, подогрели кашу и стали ужинать. А потом съели ещё маленькую дыню.

— Мне и так здесь нравится, — признался я Ване, — а с тобой мы бы тут жили, как короли! Верно?

— Ясно!

Солнце ушло из ущелья, река стала синяя. А Гриша ещё не возвратился.

— Пойдём, — сказал я Партизану, — долину поливать пора. Сейчас увидишь, как я ворота открываю.

Мы спустились к реке. Ваня старался, помогал мне выбрасывать камни из бухты на берег. Потом мы открыли ворота. И в арык хлынула вода. Для меня это дело привычное, а Партизан так увлёкся, что подошёл к самому краю бухты и... бултыхнулся в реку. Я хотел лезть за ним, но Ваня на четвереньках, чтобы не сбило сильное течение, сам выбрался на берег.

— Сплоховал! — сказал он. — Какое течение сильное!

— Не бойся, я бы тебе утонуть не дал. Мигом закрыл бы ворота.

Рубашка и штаны Партизана были насквозь мок-

рые, прилипли к телу. Я дал ему свои трусы и майку. Партизан переоделся и стал плясать перед домом на площадке, чтобы согреться.

— Слушай, Ваня, ты друг мне? — спросил я.

— До конца жизни! — ответил Партизан, который часто обещал мне остаться вечным моим другом.

— Скажи, что написано в письме?

В самых затруднительных случаях Партизан клялся старинной деревенской поговоркой.

— Глаза лопни, не знаю! — сказал он.

Больше я не приставал к нему. Может, и правда не знает?

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Много неожиданного случилось со вчерашнего дня.

Гриша вернулся домой поздно вечером. Вместе с ним на гору приехал новый техник, которому Гриша передал своё водное хозяйство. Сам он уходил в армию. Получил наконец назначение на фронт.

Вчера же Ваня передал Грише письмо. Он так и не ушёл с горы, дождался Гриши и остался ночевать у нас. Зато я узнал, что Партизан не обманул меня. В письме было только сказано, что я немедленно должен вернуться в долину. А вместо меня на время пусть Гриша возьмёт, если нужно, другого детдомовца.

— Хочешь, ты оставайся, — предложил Гриша Ване.

Партизан, как честный друг, сперва посмотрел на меня.

— Оставайся! Оставайся! — сказал я.

Я пошёл собирать вещи, а Ваня, не скрывая радости, отправился с новым техником к голове арыка.

Навсегда ли я уезжаю или вернусь сюда, я не знал. Осип Петрович и об этом не писал. Вообще это была какая-то таинственная история... Наутро мы поднялись, как всегда, с солнцем, позавтракали дыней и лёгешками. Потом все вместе спустились к воротам. Мы с Гришей посмотрели, как новый техник и Ваня от-

крывали их, и вернулись домой. Я надел на спину вещевой мешок, а Гриша вывел мне ослика — новый техник привёл себе другого осла.

— Ну, Юлька, если не вернёшься сюда, осла нашего в детдом передай. Пусть там живёт, вам служит. Только не обижайте его.

— Ладно! — сказал я.

И почувствовал, что без Гриши мне уже не захочется возвращаться. Но об этом я промолчал.

— Партизан, — сказал я, — а ты моего петуха береги. Мы его потом в Коканд возьмём...

Партизан обещал не забыть про петуха. Он был чувствительный и первый прослезился, глядя, как мы с Гришей прощаемся.

Что же, садиться мне на осла, трогаться? Гриша ещё раз обнял и поцеловал меня.

— Ничего, Юлька, не грусти! Ведь хорошо мы с тобой тут прожили... Работы вам ещё много, скоро третий посев начнётся... А в Ленинграде встретимся — скажешь, какой урожай сняли. Война кончится, вернёмся домой, я к тебе первому в гости приду!

Я пожелал Грише получить много боевых орденов.

— Служу трудовому народу! — сказал Гриша.

Слёзы выступили у меня на глазах. Я поскорее влез на осла, ударил его алычовой веткой. Осёл побежал по тропинке вниз. И скоро я спустился с горы и проехал мимо арыков.

Но как изменилась наша долина даже за последние десять дней! Кукурузное поле пожелтело. Листья, в которые, как в салфетки, были обёрнуты початки, лопнули. Из них выглядывали головки с крупными, как пуговицы, зёрнами. За кукурузными полями пошли тыквенные. Тыквы лежали на земле, как серовато-жёлтые камни. Казалось, словно валунами усеяно всё поле. Потом начались свекольные гряды с пышной густой ботвой. Рядом с ней гряды моркови казались синеватыми резными заборчиками. Тут ведь даже ботва особенная — синеватая. А луковое поле было, словно копьями, утыкано высокими толстыми стре-

лами. На концах стрел, как стальные наконечники, сидели крепкие серые головки с семенами.

По грядам ходили в белых шляпах ребята, верно, уже второй урожай снимали. Ребята были далеко от дороги и не заметили меня.

Вскоре я подъехал к лагерю. Около дома стояла лошадь, запряжённая в арбу, — вроде фургона с фанерным верхом. Значит, наш двенадцатилетний почтальон Рахим приехал из Коканда.

У дома стояли большие корзины с помидорами, редиской, луком, кабачками и свёклой.

— Эй, кто тут есть! — крикнул я.

На террасах и в доме никого не было. Я объехал верхом на осле вокруг дома и очень обрадовался, когда увидел на задней террасе Иргашой. Она сидела за столом, считала на счётах и писала в тетради.

— Юлька приехал! — всплеснула она руками. — А Осип Петрович тебя ждал вчера и не дождался. Один вечером уехал в город. И тебе велел в Коканд ехать.

— А зачем? — спросил я. — Не знаешь?

Иргашой пристально посмотрела на меня и сказала неохотно:

— Не знаю. Насчёт ученья что-то. С Рахимом поедешь...

— А ты что делаешь?

— Трудодни считаю. Мы сегодня эшелон овощей в госпиталь опять отправляем. Угадай, сколько раз уже отправляли?

Я слез с ослика, привязал его к дереву.

— Я к вам совсем приехал. Гриша мой в армию уходит. На горе новый техник будет. С ним хочет Партизан остаться.

— Да ну! У нас тоже новости... Славка от рук отбился! Два дня на работу не выходит. У нас жара стоит, надо овощи собирать, а он спрятался в бочажке, в воде по горло сидит. И ему не стыдно!

Я махнул рукой.

— А чей осёл у тебя?

— Гришин. Он его нам отдаёт. Дарит. Правда, хорошенький? Мал, зато сильный — это выучный осёл.

— Хорош! — сказала Иргашой. — Может, он сегодня в Коканд поедет. Видел, сколько овощей сняли? Все корзины полные. Пожалуй, и твоего запряжём. А ты, Юлька, отправляйся. Рахим тебя с утра ждёт. Сейчас я тебе еды на дорогу дам.

Иргашой пошла к тёте Фене за едой для меня, а я тем временем решил поглядеть на джугаровые заросли. Ландышевые листья стали ещё крупнее, стебли пожелтели, стали бамбуковые. А золотистые метёлки с зёрнами потемнели. Джугара, как кустарник, закрывала поля, на которых работали ребята.

Ко мне подошёл Рахим и заговорил по-узбекски. Я плохо понимал его. Он показал кнутом на арбу, и я догадался, что он торопит меня ехать. Я влез на арбу, а Рахим уселся верхом на лошадь. Иргашой подала мне корзинку с едой.

— Куда мне столько?

— Бери, вам целый день с Рахимом ехать!

Наш фургон был похож на повозку старинного бродячего цирка. Под фанерной крышей лежали кошма и три подушки. Я высунул голову и крикнул Иргашой:

— В международном вагоне еду! В отдельном купе. Мягко!

Иргашой засмеялась. Рахим стегнул лошадь. Мы тронулись. Ехать было хорошо. Душно немного, зато мягко. Рахим то сидел на лошади верхом, то залезал ко мне под навес. Иногда он начинал петь узбекские песни, выкрикивал протяжные гортанные слова. Я тоже подпевал ему.

Почему-то в дороге я решил, что меня переведут в военную школу. В Коканде была военная школа для ребят. Это мне понравилось, я уже размышлял, как буду в военной форме маршировать по улицам, а наши детдомовцы будут показывать: «Вот наш Юлька!»

К вечеру мы приехали в Коканд. Я отвык от города — он показался мне душным и тесным.

На углу нашего переулка Рахим остановил арбу. И переулочек стал словно уже и короче. От целого дня езды, от жары и тряски у меня кружилась голова.

На крыльце главного дома меня встретила тётя Оля.

— Вот радость тебе, Семёнов! — сказала она. — Мама твоя приехала. Вчера раз пять за тобой от неё из четвёртого госпиталя приходили.

МАМА

Я даже не помню, поздоровался ли я с тётей Олей.

Я не спросил у неё, тут ли Осип Петрович и Садыков. Мама здесь... В четвёртом госпитале! Я выскочил из калитки и побежал по улице, не видя ни садов, ни глиняных заборов. Госпиталь был на главной улице, недалеко от больницы, где Галя работала. Это туда ребята носили раненым шкатулки, кисеты и шерстяные носки. Как-то само получилось, что я добежал до тенистого переулочка, где находился госпиталь. Всю дорогу я только повторял: «Неужели? Неужели мама здесь?»

Каменная ограда госпиталя тянулась на целый квартал. Вот и железные ворота с надписью: «Посторонним вход воспрещён».

Я постучал. Из ворот высунулась бритая голова.

— Моя мама тут! — сказал я волнуясь. — Нонна Сергеевна Семёнова... Врач. Мы из Ленинграда. Пустите меня!

Человек открыл калитку, посмотрел на меня. И тут только я вспомнил, что я босой, пропылился с дороги. Я снял полотняный картуз, стряхнул его. Человек вынул из ящика, прибитого к стене дома, телефонную трубку и вызвал канцелярию.

— В какой палате лежит врач Семёнова? — спросил он. И, повесив трубку, сказал: — Проходи. В одиннадцатой палате!

Я пошёл вдоль белого дома, мимо пёстрых клумб.

Значит, это правда. Мама здесь, в Коканде! Сейчас я увижу её... Мне казалось, что в Коканде наступил большой праздник, что сейчас заиграет музыка, запоют по радио весёлые, торжественные песни.

Я вошёл в двери госпиталя. Старушка у двери пропустила меня.

Я шёл по коридору мимо дверей с цифрами. «Пять... шесть... семь», — читал я на дверях. Сердце у меня стучало всё сильнее. И вдруг на двери я увидел «11». Мамина палата. Дверь была приоткрыта. Я заглянул и увидел много кроватей. Мама была там, за дверью. Она не знала, что я стою в коридоре. Сердце у меня сжималось от страха и радости. Я не решался войти. Мама, может быть, тяжело ранена. Я только сейчас подумал об этом... А вдруг... вдруг мама без руки? Мне стало страшно. Потом я подумал: ведь год прошёл. Я переменялся, вырос. Голова у меня бритая. Я пыльный, босой. Вдруг мама не узнает меня, спросит: кто это?

— Мама, это я, — сказал я тихо, и губы у меня задрожали.

Я потянул за ручку дверь. Остановился у порога.

Мама сидела на кровати у окна. Она была в полосатой кофте. На груди кофта была расстёгнута. И под ней виден был бинт. Мама была очень бледная. Она привстала и протянула ко мне руки. Я кинулся к ней. Мама гладила меня по голове, целовала глаза и щёки. А я обнимал её за шею и тоже целовал и боялся разбередить рану на груди, всё глядел на маму. Волосы у неё, кажется, ещё чернее стали. А ямочки на щеках глубже — похудела мама. Я прижался к ней щекой.

О чём мы говорили? Мама спрашивала меня, а я рассказывал про школьный эшелон, про бабушку, про Поволжье, про дядю Женю и про детдом, про Гришу и Осипа Петровича. Я торопился всё рассказать ей.

Но, оказывается, Осип Петрович ещё утром был у неё и рассказал обо мне.

— Хороший он! — сказала мама. — Повезло тебе, Юлька! А знаешь, почему он не написал тебе в письме, что я вернулась? Он сам не знал, тяжело ли я ранена. И не хотел тебя расстраивать. И меня подготовить к встрече с тобой хотел. Он чуткий, хороший человек.

— Осип Петрович замечательный. Я ещё тебя с Садыковым познакомлю. И с Иргашой, с Зорькой. А главное — с Партизаном!

— Вот сколько у тебя друзей! — улыбалась мама.

— А где ты была? В военкомате мне сказали, что ты пропала без вести...

— Почти год я жила с партизанами в глухих смоленских лесах...

— Осип Петрович так и говорил мне! А как ты нашла меня? — спрашивал я. — Ты меня искала?

— Искала. Справлялась. С товарищами посылала тебе из окружения письма. В военкомат писала, а там ваши письма нашли — встречные.

— А ты бы меня обязательно нашла? — допытывался я. — Ты меня бы не бросила?

— Юлька, я все города бы объехала, а тебя нашла!

— Я так и знал! — говорил я. — Мы скоро вернёмся в Ленинград?

— Вернёмся. Все говорят, что теперь скоро можно будет ехать домой.

Мама сказала мне, что рана её уже не опасна, хотя и придётся ей ещё лежать в госпитале.

На соседних кроватях лежали две молодые девушки и совсем седая старуха. Они смотрели на нас, улыбались. Радовались, что мы с мамой встретились.

В палату вошла сестра и сказала, что пора мне уходить. Я поцеловал маму, простился и опять сел на кровать.

— Бедный мой мальчик! — сказала мама. — Сколько ты пережил из-за фашистов. Сколько намутился, болел... голодал!



Мама гладила меня по голове, целовала глаза и щёки...

— Хорошо, что хорошо кончается! — сказала старушка.

— Да, — согласилась мама. — А сколько близких никогда не увидят друг друга! Сколько мальчиков не встретят родителей! А матери — детей...

Я прижался к маме, мне не хотелось уходить.

Когда я вышел из госпиталя, во дворе стояла большая арба с корзинами овощей. Возле ослика я увидел Зорьку и мальчика из нашего детдома, Кешу Царёва.

— Юлька, — крикнула Зорька, — мы как раз в госпиталь к твоей маме попали — вот хорошо! Мы всё знаем. Нам тётя Оля уже сказала, какой ты счастливый!

— А знаешь, моя мама у партизан была...

Кеша Царёв пошёл узнавать, куда сдавать овощи.

Мы с Зорькой постояли во дворе.

— Наверное, ты первый уедешь в Ленинград? — спросила она. — Тогда к моему папе зайди. Не забудешь?.. Да, Юлька, я и забыла тебе рассказать... Садыков уходит в армию! На фронт.

Я онемел от неожиданности.

— Да ему ещё нет семнадцати лет!

— Сейчас исполнилось. Он добровольцем идёт. Написал пятнадцать заявлений в военкомат. Ему всё отказывали. Говорили — молод. Теперь разрешили.

— А мы ничего не знали!

Но в ворота входил сам Садыков с большим букетом белых цветов. На зелёных ветках висели, как пушистые мячики, круглые белые бульденежи. Я не выдержал и побежал к Садыкову:

— Садыков! Мама ко мне приехала...

Садыков потрепал меня по плечу.

— С радостным событием поздравляю! — сказал он. — У нас с тобой маленькое недоразумение вышло... Но, по узбекской пословице, доброму человеку злого не вспоминают. Что твоя мама приехала, нам известно. Осип Петрович у неё уже был. А теперь со мной ей этот букет посылает.

К букету была пришпилена записка:

«Нонне Сергеевне Семёновой от детдома».

— Сегодня поздно, да и мама твоя устала. Передам ей букет, а завтра лично явлюсь. Познакомиться хочу.

— Садыков! — сказал я. — Ты на фронт от нас уходишь?

— А что тут особенного? — ответил Садыков. — Просто моё желание учли. Завтра прощание устроим в детдоме.

Он, как всегда, торопился. Я смотрел, как Садыков быстрыми шагами шёл по двору, к дверям госпиталя.

Хоть и прежде я любил Садыкова, а теперь понял, что плохо знал его. Я понял, почему Осип Петрович так считался с ним. Никто в детдоме не подозревал, что он задумал. Осип Петрович — тот, верно, знал. Такая у Садыкова была выдержка.

Я вышел из ворот госпиталя. В городском парке играла музыка, на деревьях висели гирлянды разноцветных фонариков. Сегодня в Коканде праздник, как в тот день, когда я впервые пришёл в детдом? Или просто суббота и в парке будет концерт? А мне казалось — всё это потому, что мама моя приехала. Сегодня я всех счастливее! Но пусть и Зорька найдёт папу, а Партизан — родных. Пусть Гоша отыщет своих.

Вспомнил я Галю. И пожелал ей удачи. Я ещё не знал, что никогда не увижу Галю. Фашистский бомбардировщик разбил в щепки вагон, в котором она ехала на фронт...

Я думал о том, что кончится война и мы соберёмся все вместе. Вспомним, что случилось с нами в эти годы. Этого я никогда не забуду. Всегда буду дружить с Партизаном и Иргашой, не забуду Зорьку. Может быть, Осип Петрович и Садыков приедут к нам в Ленинград. Но я не забуду и Ивана Семёновича из Поволжья, дядю в пушистом пальто из Горького, картового, который обобрал меня... Только уж, конечно,

хорошим словом ни я, ни мои друзья мы их не помянем!

Но скоро ли кончится война?

Я вспомнил про Садыкова. Завтра он уйдёт в армию.

И подумал опять: «Пусть поскорее кончится война. А потом уже всегда будет везде мир!»



ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ		Эвакуированные	54
Последний эшелон	3	В больнице	58
Пилотка	6	ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ	
Милиционер	8	Детдом	65
Сын военного	10	Камень	67
До свиданья!	12	Девочкино пальто	69
Первая пересадка	15	Винегрет	70
ЧАСТЬ ВТОРАЯ		Я остаюсь	73
Дом на площади	19	Надо осмотреться	77
«Держите!»	21	В гостях	80
Спасение	23	ЧАСТЬ ПЯТАЯ	
Вид на жительство	24	«От Советского Ин-	
Бабушкин город	30	формбюро»	87
Иван Семёнович	31	«Менялы»	93
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ		Санобработка	95
Конец путешествия	38	Зелёный петушок	98
Картавый	41	Бутсы	102
Ватник	43	Расплата	105
Веретено	44	Ураган	108
Утро	46	Бегство	111
«Нич Пуль»	47	Возвращение	114
Военный	52	Комиссия	117

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ		На горе	146
Сборы	125	Петух	149
На арбах	126	Хозяева	151
Джунгли	129	В гостях	152
Красные цифры	133	Банковский билет	156
Гриша Русанов	137	Гонец	159
В пути	141	Возвращение	164
Голова	144	Мама	168

Для младшего школьного возраста

Раковская Нина Евгеньевна

МАЛЬЧИК ИЗ ЛЕНИНГРАДА

Ответственный редактор *Л. Г. Тихомирова.*

Художественный редактор *Н. И. Комарова.*

Технический редактор *А. А. Головкина.*

Корректора *Э. С. Ульянова и В. П. Кучерова.*

Сдано в набор 28/VI 1960 г. Подписано к печати 11/VIII 1960 г. Формат 60 × 92^{1/8} — 11 печ. л. (8,38 уч.-изд. л.). Тираж 150 000 экз. А05582:

Цена 3 р. 95 к. С 1/1 1961 г. — 39 коп.

Детгиз Москва, М. Черкасский пер., 1.

Фабрика детской книги Детгиза. Москва, Сущевский вал, 49.
Заказ № 3882.